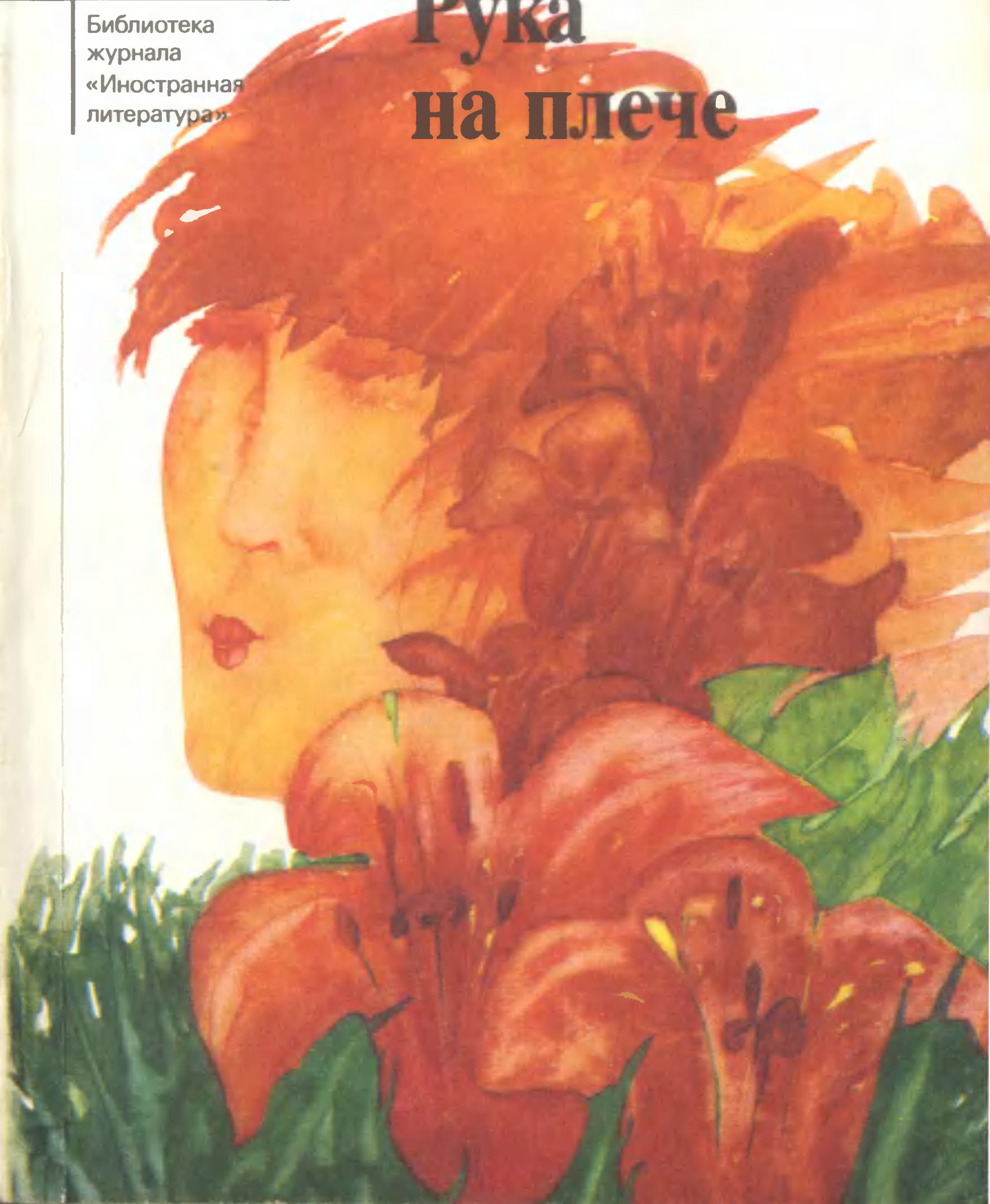


ИЛ

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Лижия
Фагундес Теллес

Рука
на плече





Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Lygia Fagundes Telles

Лижия Фагундес Теллес

Рука на плече

Рассказы

Перевод с португальского

Составление М. Волковой

Предисловие Е. Огневой

Москва

«Известия»

1986

И (Браз)
Т 31

Главный редактор Н. Т. Федоренко

Рецензент И. Тертерян

Обложка художника А. Семы

© Составление, оформление, предисловие,
перевод на русский язык издательство
«Известия», журнал «Иностранная лите-
ратура», 1986

Обаяние скрытого чуда

Есть писатели, чью творческую судьбу нельзя не назвать счастливой. Их книги не ждут признания долгие годы, они сразу же по выходе в свет находят путь к читательскому сердцу, чтобы остаться в нем надолго. Успех этот прочен и длителен, а значит, не случаен. Именно такова участь книг Лижии Фагундес Теллес, бразильской писательницы, имя которой латиноамериканские критики зачастую упоминают в одном контексте с такими выдающимися мастерами прозы, как уругваец Хуан Карлос Онетти и аргентинец Хулио Кортасар.

Лижия Фагундес Теллес родилась в 1924 году в Сан-Паулу в семье служащего, который по роду своих занятий должен был очень часто переезжать с места на место. Поэтому детство ей запомнилось как калейдоскоп маленьких провинциальных городков с их тишиной, обилием зеленых садов, причудливой, на всю жизнь врезающейся в память архитектурой, — городков, где одни и те же знакомые лица, привычные звуки, ленивый, устоявшийся распорядок дня располагали к размышлениям, наблюдениям, призывали на борьбу со скукой спасительное воображение. Лижия училась в гимназии, очень много читала, рано стала пробовать писать сама. Первый сборник ее рассказов вышел, когда она только-только еще стала студенткой. Он назывался «Живой пляж» (1944), за ним последовал еще один — «Красный кактус» (1949), и два романа. Все эти книги были тепло встречены публикой, замечены критикой, и имя вчерашней студентки прочно укрепилось в бразильском литературном мире среди признанных и восходящих звезд, таких, как Омеро Омен и Жилван Лемос, Далтон Тревизан и Кларисе Лиспектор, Антонио Калладо и Иван Анжело...

Потом, за два десятилетия, 60—80-е годы, вышли еще во-

семь сборников рассказов и два романа. Трудно поверить, но это правда: Лижия Фагундес Теллес удостоена практически всех наиболее значительных литературных премий Бразилии. На ее счету премии Национального института книги, Бразильского ПЕН-Клуба, Критики, Бразильской Академии, Гимараенса Розы, премия «Боа лейтура»... Сегодня она одна из наиболее читаемых прозаиков страны. Что еще известно о писательнице, добившейся такого успеха? Она юрист, и по образованию, и по роду занятий, живет в Рио-де-Жанейро, работает в Государственном институте прогнозирования. По собственному признанию, Лижия Фагундес Теллес счастливая жена и мать.

Не исключено, что у читателя, закрывшего книгу «Рука на плече», возникнет чувство озадаченности, недоверчивого удивления. Как из-под пера такой, казалось бы, в высшей степени благополучной женщины, описывающей жизнь, казалось бы, благополучных людей, могли выйти эти рассказы, рождающие ощущение неясного беспокойства, навевающие загадочные образы, тревожащие воображение, рассказы, которые будоражат самую спокойную совесть? Но парадокс этот мнимый, ибо благополучие персонажей писательницы тоже мнимое, достигнутое слишком дорогой ценой. Приносит истинное чувство в жертву деньгам начинающий художник, герой рассказа «В сауне»; ради престижа и успеха в деловом мире отказывается от личного счастья протагонист рассказа «Рука на плече»; из-за материальных благ предает любовь героиня рассказа «Приходи взглянуть на заход солнца». Подмена истинных ценностей мнимыми в современном «обществе потребления» и трагические последствия такой подмены — вот тема, ненавязчиво присутствующая почти во всех рассказах Лижии Фагундес Теллес. В существование вроде бы удачливых и преуспевающих героев часто вторгается нечто такое, что грозит перевернуть все вверх дном, смести, опрокинуть привычный порядок вещей. Спектр этого «нечто» весьма широк: от внезапного воспоминания, тревожного сна, игры воображения до предощущения собственной смерти.

Фантастический эпизод на фоне обыденной реальности, неожиданная, ошеломляющая порой развязка сюжета, тонкий, изящный психологический рисунок, плавный ритм рассказа, выверенный, отточенный стиль и еще, пожалуй, оттенок легкой грусти, пронизывающий рассказы бразильской писательницы, — все эти черты присущи творческой манере Лижии Фагундес Теллес.

Нет и не может быть заурядной, неинтересной человеческой жизни, наше бытие вообще не может восприниматься как нечто простое, одномерное. Нет людей и судеб без магической тайны, без невидимой драмы, без нерешенной загадки — таково глубокое убеждение писательницы и таково ее творческое кредо. Не случайно одному из ее последних сборников (который, кстати, так и называется — «Тайны») предпосланы в качестве эпиграфа слова из книги Джона Бойнтона Пристли «Человек и время»: «Да, я предпочитаю сумасшедший дом тюрьме. Предпочитаю легковерие неверию. Если мне суждено блуждать, то предпочитаю блуждать не просто, а в поисках находок. Настоящая жизнь должна быть полна загадок, должна казаться сложной и чудесной. Тот, кто видит ее более мелкой и упрощенной, чем подсказывает воображение, впадает в непростительную ошибку».

«Тюрьма» приземленного, бездуховного мировосприятия — или «безумие» разгулявшегося воображения? Второе, по Фагундес Теллес, без сомнения, предпочтительнее. С этим вовсе не обязательно связано что-то сверхъестественное. Например, воображение переносит нас в давно прошедшие детство или юность, воскрешает давно забытые ощущения, возвращает нас к истоку формирования нашего «я». Эта тема — одна из излюбленных у Лижии Фагундес Теллес («Гербарий», «Черные «классики», «Стена»). Как потерянный рай, вспоминается тепло семейного очага, заботы большой семьи, бывшее единство, так скоро разрушенное жизнью. Стена, настойчиво возникающая в предсмертных грезах старика, не просто ограда соседского сада, запомнившаяся с детства. Это символ авторской

концепции времени, которая обнаруживается во многих рассказах писательницы. Мир детства отделен от того, что еще предстоит пережить, непроницаемой стеной. Если бы можно было предупредить брата, заглянув в будущее... Нерушимая стена отделяет нас и от прошлого, где ничего уже нельзя изменить...

Изменить прошлое не дано, но пережить его, утверждает писательница, нам дано многократно. Так, в «Желтом ноктюрне» дом-мираж оживает в безмолвной ночи для путешественницы, ощутившей вдруг знакомый еще с детства запах цеструма. Вновь ей даровано обрести утраченный очаг, увидеть вместе давно распавшуюся семью, испытать чувство недолговечной, но счастливой общности близких по духу людей. Рассказ не может не вызвать ассоциации со знаменитым фильмом Бергмана «Земляничная поляна». Как и там, в «Желтом ноктюрне» зажигаются огни, оживают люди-призраки, когда-то населявшие опустелый теперь дом. Они не только, как это было в «Земляничной поляне», говорят то, что говорили при жизни, но и то, что при жизни не осмеливались или не желали сказать героине. Не исключено, что «блудной дочери» просто-напросто вспоминаются подробности одного из последних, становившихся год от года все более редкими, приездов в родной дом. Лижиа Фагундес Теллес намеренно не расставляет окончательных акцентов. Рассказ открыт для интерпретаций, и эффект его тем действеннее.

Еще более по сравнению с «Желтым ноктюрном» усложнена структура воспоминания в новелле «В сауне». Воспоминание о поездке с женой к месту, где он жил в юности, терзает художника в тот момент, когда, по логике вещей, он должен бы приятно расслабиться и чувствовать легкую истому. Ведь это воспоминание — лишь ключ к другим, повод, провокация, вызывающая из-под спуда долго хранимую в тайниках памяти историю предательства. Сауна становится «чистилищем», где душа проходит как бы предварительную процедуру «смотра грехов». Но «чистилище» все-таки еще не ад, а сауна располагает к подыскиванию

запоздалых аргументов в свою пользу. Каждый поворот событий, всплывающий из глубин памяти, казалось бы, должен еще бесповоротнее свидетельствовать: «Виновен!» Но голос самосохранения услужливо выворачивает наизнанку факты, которые в тепле и уюте сауны вдруг становятся такими эластичными, неоднозначными... Предоставим читателю самому решать, осужденным или оправданным выходит герой «Сауны» из своего современного, комфортабельного «чистилища».

Тема давнего предательства, незаметного, будничного, как бы безотчетного, но такого, которое способно вдруг всплыть в душе виновного, встать в полный рост и окрасить в совсем неожиданные тона благополучное настоящее, — настойчивый лейтмотив творчества бразильской писательницы. Она исследует человеческое сознание, состоящее как бы из двух слоев, поверхностного и глубинного. И то, что на первый взгляд ее герои воспринимают как неожиданную напасть, нервный срыв, на поверку оказывается этим самым «глубинным слоем», внезапно «пробудившимся». В нем, как в тайнике, до поры до времени хранится все, что люди сами скрывают от себя, поддаваясь удобной привычке к ежедневным самообманам и самоуспокоению. Порой писательница обнажает нехитрую механику «заговаривания» собственной совести — в рассказе «Перед зеленым балом» мы становимся свидетелями этого процесса.

Впрочем, необязательно на дне этого омута притаилось именно предательство. В тайниках человеческой души скрыты и безотчетные страхи, и робкие надежды, и мечты, и фантазии, которые герои рассказов Фагундес Теллес в своей «официальной», повседневной жизни предпочитают держать в плену. Но вот в один прекрасный день они вырываются из-под контроля, чтобы вступить в неизбежный конфликт с рациональным, устойчивым, размеренным бытием.

Смерть приходит к трезвомыслящему, деловому человеку как таинственный, исполненный сказочной притяга-

тельности — пусть и страшный — сон о прогулке в тенистом саду («Рука на плече»). Почему, откуда этот образ запущенного сада в сознании бизнесмена и горожанина? В поэтике Лижи Фугундес Теллес этот образ, повторяющийся часто и вдохновенно, неотторжим от второго, глубинного плана, тайника человеческой души. Сад — признак и вестник того волшебного мира, в котором среди буйной зелени, под бормотание фонтана или ручья, среди цветов и запахов природы всегда возможно чудо, таинство. Безликий каменный город с потоками ревущих машин — это царство здравого смысла, неверия, оно бесцветно, как бы выжжено. Оттуда рано или поздно захочется бежать — в сад забытого детства, в сад радостей земных или даже в сад смерти. Так, дом-призрак из «Желтого ноктюрна» окружен зарослями; добрая фея растений, преданная художником Роза погибает без своего сада («В сауне»); в буйно заросшем парке ждет, пока смерть положит ему руку на плечо, усталый человек; схожим образом, как в сон, «входит» в картину-лес герой рассказа «Охота». Одичавшая зелень старого кладбища заглушает последний крик неверной возлюбленной («Приходи взглянуть на заход солнца»). В этом рассказе здравый смысл вступает в бой не на жизнь, а на смерть с тем, что презрительно именуется «не от мира сего», и терпит полный крах. Страшный рассказ, но вряд ли кто примет в этом поединке сторону жертвы «любителя закатов».

Материализуется мечта — и впервые без грусти и страха дано героине Л. Фугундес Теллес вступить в мир, ставший реальным благодаря силе ее фантазии («Эмануэл»). Кот, пригретый смешной и жалкой неудачницей, превращается в обаятельного возлюбленного, владельца «мерседеса». Его облик, правда, скроен по мотивам дешевых романов для домохозяек... Но если вдуматься, так ли уж отличаются их невзыскательные вкусы от идеалов богатых снобов, друзей героини рассказа? В «Эмануэле» бросилось бы в глаза снижение фольклорного мотива, известного всем народам, если бы не убедительность психологической мотивировки,

которая делает бразильскую писательницу неуязвимой для упреков подобного рода. То, что обещает быть анекдотом, становится подлинной драмой, и счастливая фантастическая развязка воспринимается как заслуженное торжество справедливости. Чудо, потрясающее до основания устойчивую повседневность, иной раз может и не быть прекрасным, добрым и светлым. В таком случае оно обрушивается на людей как кара. В «Крысином семинаре» это страшное чудо. К теме крысиного нашествия не раз обращалась литература на протяжении веков. Обыгрывает ее и Лижия Фагундес Теллес. Но для этих голодных полчищ нет в современной Бразилии гаммельнского музыканта, против них не встанет заслон стихийного человеческого единения, как в знаменитом романе Камю «Чума»... Ибо крысиная угроза в притче, рассказанной бразильской писательницей, идет из трущоб. Примитивно, конечно же, было бы непосредственное отождествление обитателей фавел с серым воинством разъяренных и голодных, тех, что разносят голубой дворец участников семинара. Метафора, видимо, тоньше: в рассказе на дворец наступает материализовавшаяся Нищета, принявшая отвратительный облик крыс, своих посланцев.

Итак, чудеса существуют. Страшные или заманчивые, они потихоньку расшатывают решетки тюрьмы бездумного, поверхностного, облегченного существования. Они готовы свершиться, заявить во весь голос о тщательно скрытых неблагополучии и разладе, царящих в мире, где живут современники писательницы, об их одиночестве, о необходимости что-то изменить в себе и в окружающей действительности. Прислушаться, присмотреться, не закрывать глаза на все это призывает своих читателей Лижия Фагундес Теллес.

Е. Огнева

Рука на плече

Его удивили зеленое небо и восковая луна, увенчанная, как короной, тонкой веткой — свисающие листья четко вырисовывались на мутном фоне. Действительно луна или погасшее солнце? Трудно было понять, вечерет или уже утро в этом саду, залитом тусклым, как старая медная монета, светом. Его удивил влажный запах травы. И тишина, застывшая, будто на картине с человеческой фигурой в центре (это был он сам). Он шел по аллее, покрытой ковром пламенеющей листвы, но это была не осень. И не весна, потому что цветам не хватало той сладости, что так привлекает бабочек. Бабочек не было. Птиц тоже. Он обхватил рукой ствол смоковницы, живой, но холодной, — ствол без смолы и муравьев; странно, почему он думал, что найдет в трещинах стекловидные кусочки застывшей смолы, ведь было не лето. И не зима, хотя скользкая, илистая сырость камней заставляла вспомнить о пальто, оставленном в кабинете на вешалке. Сад вне времени, но зато в моем времени, пришло ему в голову.

Тяжелый запах, поднимавшийся от земли, пронизывал его тем же оцепенением, что и все вокруг. Он чувствовал себя как бы полым. К ощущению легкости примешивалось беспокойное чувство оторванности от земли: если бы сейчас у него открылись вены, из них не вышло бы ни одной капли крови, совсем ни единой. Он поднял с земли листок. Станный сад. Никогда он здесь не был и понятия не имел, как попал сюда. Одно было ясно: с прежней жизнью покончено, потому что произошло нечто. Что именно? Сердце у него забилося. Он так свыкся с повседневностью, без неожиданностей и тайн. И теперь этот су-

масшедший сад, вставший на пути. Да еще, кажется, и со статуями? Вон там, это ведь, похоже, статуя?

Он подошел к мраморной фигуре девушки, грациозно подобравшей подол, чтобы не замочить юбки и босых ног. Мраморная испуганная девчушка посреди высохшего водоема осторожно ступала по камням, разбросанным вокруг. Но на маленьких ножках зияли дыры вместо пальцев, размытых еще в те времена, когда возле них плескалась вода. Черная борозда сбегала с самой макушки, пересекала лицо и, округло изгибаясь, исчезала между грудей, полуприкрытых расстегнутым корсажем. Он отметил, что глубже всего борозда была на лице — она почти целиком поглотила левое крыло носа; интересно, по какому закону дождевые струи сбегали именно этим путем, как по водосточной трубе? Он оглядел кудрявую головку, колечки на нежном затылке. Дай руку, я помогу, проговорил он и отшатнулся: пушистое, похожее на паука насекомое выползло из маленького уха.

Упал на землю сухой листок. Он сунул руки в карманы и пошел, ступая с осторожностью мраморной девушки. Обогнул куст цветущих бегоний, постоял возле двух кипарисов (что, однако, могла означать эта статуя?) и свернул на аллею, показавшуюся не такой сумрачной. Обычный сад. И странно будоражащий, как головоломка, в которую любил играть с ним отец: среди прихотливо нарисованных деревьев прятался охотник, чтобы выиграть, надо было его найти как можно быстрее, ну давай, сын, ищи, в облаках, на деревьях, вон там, среди ветвей, это не он? На земле, на земле посмотри, вот этот изгиб ручейка как будто похож на фуражку?

Он стоял на лестнице. Этот странно знакомый охотник подойдет сзади к каменной скамье, на которую я сяду, вон она, уже видна впереди. Чтобы не застать меня врасплох (не выношу неожиданностей), он незаметно подаст сигнал перед тем, как положить руку мне на плечо. И тогда я обернусь. Он вдруг застыл. Внезапная мысль заставила его пошатнуться, теперь он знал. Он зажмурился и съежился,

почти коснувшись коленями земли. Как будто сухой листок невесомо лег ему на плечо, но если обернуться, если откликнуться... Он резко выпрямился. Провел рукой по волосам. Казалось, сад наблюдал за ним, молчаливо и изучающе, даже вон тот розовый куст впереди, с мелкими розочками на ветках. Ему стало стыдно. О господи, пробормотал он виновато, как человек, без причины впавший в панику, о боже, какой стыд, ну а если это всего-навсего приятель? Просто приятель? Он принялся было насвистывать и тут же увидел маленького мальчика, медленно двигавшегося с процессией к церкви на страстную пятницу. Христос высился над толпой, колыхаясь в своем стеклянном гробу, подними меня, мама, я хочу посмотреть! Но Он был слишком высоко, как и потом, в церкви, уже освобожденный из своего стеклянного заточения, выставленный для целования руки на помосте, покрытом фиолетовым покрывалом. Скорбь, разлитая на лицах. Страх, сковывающий робкие шаги, — чего же нам ждать, если даже Он?! Нестерпимое желание, чтобы скорее кончился ночной кошмар и забрезжила заря субботы, воскреснуть в субботу! Но не прошло еще время черных ряс. Время мерцающих свечей и раскачивающихся кадилъниц, туда-сюда, пока не иссякнет людской поток. Долго еще, мама? Именно в ту ночь родилось его всегдашнее стремление избегать всего тяжелого и непонятного: удрать на первом же углу, сорвать венок с фальшивыми шипами, сбросить красный балахон и бежать от этого мертвеца, пусть божественного, но мертвеца! Позже он открыл, что процессия двигалась всегда по одним и тем же улицам, и сбежать было легче легкого. Трудность оставалась в другом — бежать от самого себя. В тайной глубине, там, где жил источник жажды, ночь не кончалась, и настоящие иглы рвали нутро, о боже, почему не приходит рассвет? Я хочу, чтобы наконец рассвело!

Он опустился на зеленую от мха скамью. Здесь было совсем тихо и сыро — очевидно, самая глухая часть сада. Он провел кончиками пальцев по мху и ощутил его

бархатистость, словно прикоснулся губами. Осмотрел ногти. Наклонился, чтобы снять обрывки паутины с края брюк... акробат в белом трико (кажется, в цирке была премьера?) сорвался с трапеции из-под самого купола, прорвал сетку и плашмя упал на манеж. Тетя сразу закрыла ему глаза рукой — не смотри, милый! — но между затянутыми в перчатки пальцами он видел бьющееся в конвульсиях тело под разорванной сеткой. Судороги постепенно затихли, и только одна нога продолжала дергаться, как у насекомого. Когда тетя уже выводила его из цирка, нога в последнем содрогании стремительно выскочила из разрыва в сетке. Он взглянул на свою онемевшую ногу, попробовал шевельнуть ею. Но оцепенение дошло уже до самого колена. Как будто из солидарности, тотчас же онемела левая рука; бедная свинцовая култышка, подумал он с умилением, вспомнив, что алхимики пытались превратить в золото малоценные металлы, свинец ведь из малоценных? Правой рукой он взял неподвижно висящую левую руку. Бережно положил ее на колено: теперь бежать невозможно. Да и куда бежать, если в этом саду все дороги, похоже, ведут к лестнице? По ней придет охотник в фуражке, вечный житель вечного сада, только я здесь временно. В виде исключения. И если я пришел сюда, то это потому, что скоро умру. Уже? — ужаснулся он, оглядываясь по сторонам, но стараясь не смотреть назад. Головокружение заставило его зажмуриться. Он пошатнулся и попытался схватиться за скамью. Не хочу! Сейчас нет, господи, еще немного, я еще не готов! Он замолчал, услышав шаги, — кто-то медленно спускался по лестнице. Дуновение, легче бриза, казалось, оживило аллею. Это уже за моей спиной, пронеслось в голове. Он почувствовал, как рука медленно потянулась к его плечу. Потом она слегка опустилась, как бы давая знак (такой интимный и вместе с тем такой торжественный): это я. Мягкое прикосновение. Я должен проснуться, приказал он себе, весь сжавшись, это только сон! Я должен проснуться! Проснуться. Проснуться, повторил он и открыл глаза.

Он не сразу понял, что прижимает к груди подушку.

Отер тепловатую слюну, стекавшую по подбородку на одеяло до самого плеча. Ничего себе сон! — пробормотал он, сжимая и разжимая пальцы на левой руке, затекшей и зудящей. Потом вытянул ногу, и когда жена распахнула окно и спросила, хорошо ли он спал, собрался было рассказать ей сон про сад и смерть, подкравшуюся сзади: представь себе, мне приснилось, что я умираю! Однако она могла сострить: неужели не мог увидеть что-нибудь повеселее? Он отвернулся к стене. Сейчас ему было не до юмора. Как его раздражала эта демонстрация остроумия! Она обожала пройтись на чужой счет, но вся ощетиливалась, когда пытались посмеяться над ней. Он помассировал зудящую руку и ответил что-то неопределенное на вопрос, какой галстук он наденет, день сегодня чудесный. День или ночь была в том саду? Он столько раз думал о смерти других, даже наблюдал ее довольно близко, но никогда не представлял, что и с ним может произойти то же самое, никогда. О, в будущем, разумеется! В какой-нибудь далекий день, но такой далекий, что и представить трудно, уже засыпанный пеплом старости, он растворится в забвении. В небытии. А теперь что же это? Еще пятидесяти нет... Он изучающе оглядел руку, пальцы. Нехотя поднялся с постели, надел халат. Не странно ли? Не странно ли, что он и не подумал сбежать из этого сада. Он обернулся к окну и протянул руку к солнцу. Может, и подумал бы, если б не отнявшаяся нога и повисшая рука. Бежать было некуда, потому что все дороги в этом саду вели к лестнице, и не было иного выхода, как сидеть и ждать, когда тебя позовут оттуда, сзади, тихо и непреклонно. Ну так что? — раздался голос жены. Он вздрогнул. Она наблюдала за ним в зеркало, одновременно вбивая в лицо крем кончиками пальцев, — сегодня он не будет делать гимнастику? Нет, сегодня нет — он помассировал затылок, — хватит с меня гимнастики. Ванны с тебя тоже хватит? — она перешла к подбородку. Он сунул ноги в шлепанцы: он бы ее возненавидел, если бы не чувствовал себя таким усталым. Боже, как она врет! (теперь она напевала), никогда у нее

не было приличного слуха, голос еще туда-сюда, но когда тебе слон на ухо наступил... Он вдруг остановился посреди комнаты: этот паук, выползший из уха статуи,— не знак ли это? Только паук двигался в том застывшем саду. Паук и смерть. Он взялся за сигареты, но отложил пачку: сегодня надо бы курить меньше. Развел в стороны руки: эта боль в грудной клетке, она действительно существует или только приснилась?

Знаешь, я видел сон, он подошел к жене и тронул ее за плечо. Она приподняла брови, изобразив любопытство: сон? И принялась вбивать крем вокруг глаз, слишком озабоченная собственной внешностью, чтобы думать о чем-либо, не имевшем к ней отношения. Она уже не способна на сочувствие, пробормотал он, входя в ванную. Взглянул на себя в зеркало: он действительно похудел или это все еще звучит неутраченное эхо сада?

Утренний ритуал он исполнил со странным волнением, задерживая внимание на самых незначительных жестах, которые обычно повторял автоматически. Теперь он их анализировал, просматривал, словно кадры замедленной съемки, как будто первый раз в жизни открыл кран умывальника. А может быть, и последний. Он завернул кран — странное чувство! Будто прощаешься со всем. Включил электробритву, посмотрел на нее в зеркало и с какой-то нежностью поднес к лицу — не думал он, что жизнь ему так дорога. Та самая жизнь, о которой обычно говорилось с таким сарказмом, таким презрением. Я считаю, что еще не готов, да, именно это я все время пытался сказать, я еще не готов. Это ведь будет внезапная смерть, что-то с сердцем, как раз то, чего я терпеть не могу,— неожиданности, перемены планов. Он вытер лицо и снисходительно усмехнулся: не то же ли самое говорят все в таких случаях? Все, кто умирает. Никто и не думает готовиться, даже самые глубокие старики, ему уже лет сто, а он беспокоится, завидя священника: как, уже? Уже?

Он пил кофе маленькими глотками, как будто первый раз в жизни. Масло стекало с подогретого хлеба. Аромат яблок

смешивался с каким-то непонятным запахом, откуда это? Жасмин? Вот они, маленькие радости. Он перевел взгляд на стол, на расставленные на нем предметы. Подавая газету, жена напомнила, что вечером у них два приглашения: на коктейль и на ужин, может, не пойдём? Да, не пойдём, откликнулся он. Сколько раз все это уже было? Золотая нить светской жизни тянулась бесконечно, не пойдём, повторил он. И отложил газету: важнее всех газет на свете был сейчас этот солнечный луч, что пронизывал кисть винограда на тарелке. Он выбрал янтарную ягоду и подумал, что, если бы в том саду была хоть одна пчела, у него оставалась бы надежда. Взглянул на жену: она накладывала на поджаренный хлеб апельсиновое варенье, по пальцам стекала золотисто-желтая капля, она слизывала ее языком и смеялась; сколько лет назад кончилась любовь? Осталась эта игра — отработанный спектакль, наводящий тоску. Он протянул руку, чтобы погладить ее волосы: жаль. Она обернулась: жаль чего? Он задержал взгляд на ее кудрявых, как у той статуи, волосах: жаль того паука. Нога стала совсем деревянной, не обращай внимания, это я так, сам с собой. Он налил себе еще кофе. И вздрогнул, когда она спросила, не опоздает ли он.

Я сегодня выйду попозже, хочу выкурить последнюю сигарету, он так и сказал, последнюю? Поцеловал сына, одетого в голубую школьную форму, — тот задержался, чтобы застегнуть портфель, точно так же, как делал это вчера. Откуда ему знать, что отец сегодня на рассвете (или это было ночью?) почти заглянул в глаза смерти. Еще немного, и мы столкнулись бы с ней лицом к лицу, таинственно сообщал он мальчику, который его не слышал — он разговаривал со слугой. Если бы я вовремя не проснулся, возвысил он голос, но жена высунулась в окно сказать шоферу, чтобы выводил машину. Он надел пальто: в этом доме говори себе сколько угодно, здесь ты никому не интересен. Можно подумать, что тебе самому кто-нибудь интересен! Он приласкал собаку, бросившуюся к нему с такой радостью, что это его растрогало, — не стран-

но ли? Жена, сын, слуги — все были непробиваемы, и только этот щенок учуял опасность своим зрячим носом. Он зажег сигарету и долго следил, как пламя ползет по спичке. Из глубины дома долетел неясный голос диктора, читавшего прогноз погоды. Когда он поднялся, жена и сын уже ушли. На дне чашки стыл кофе. Традиционный поцелуй, полученный им, был так бесстрастен, что он сразу же забыл о нем.

Сеньора к телефону, раздался голос слуги. Он взглянул на него: больше трех лет этот парень здесь, а он о нем не знает почти ничего. Он отрицательно и как бы извиняясь качнул головой — на домашние, мол, дела времени не оставалось. Для окружающих он — преуспевающий бизнесмен, женатый на очаровательной женщине. Та, первая, тоже многого хотела, но у нее не было шарма, а чтобы блистать, чтобы первенствовать, нужен шарм. Фигура. Надо так за собой следить, как будто у тебя каждый день свидание, любила повторять она, смотри, я вовсе не утешаю себя — никакого намека на живот! Утешение было в другом: сладостная беспечность человека, у которого впереди жизнь. А у меня разве нет? Он уронил сигарету в чашку: нет, теперь нет. Сон прервал поток его жизни, поставив сад на его пути. Этот невероятный сон был одновременно так реален, несмотря на лестницу с выщербленными ступенями. Несмотря на шаги лукавого охотника, все ближе, ближе, пока не ляжет на плечо рука.

Он сел в машину, повернул ключ. Левая нога соскользнула в сторону, отказываясь повиноваться. Он попытался поставить ее на педаль, нога осталась неподвижной. Он сделал еще попытку и еще. Главное, не терять спокойствия, не суетиться. Наконец он вытащил ключ. Поднял стекло. Тишина. Покой. Этот запах влажной травы, откуда он? Руки бессильно упали на сиденье. Пейзаж надвигался на него, окутанный сиянием, цвета потемневшей меди, это сумерки или уже светает? Он поднял голову навстречу бледно-зеленому небу с шарообразной луной, увенчанной листьями. Остановился в нерешительности посреди аллеи, усталой темными листьями, что за черт, я опять в саду? Опять?

Теперь это был не сон; и он испугался, посмотрев на галстук, который она выбрала для него сегодня. Тронул ствол смоковницы — да, опять смоковница. Двинулся вперед по аллее, еще немного, и появится высохший бассейн. Девушка с источенными водой ступнями все еще не решалась сделать шаг, боясь замочить ноги. Совсем как он, всегда озабоченный тем, как бы не связать себя обязательствами, не подвергнуться лишнему риску. Одну свечку богу, другую дьяволу. Он усмехнулся, глядя на свои раскрытые, как бы предлагающие себя руки, и подумал, что всю жизнь держал их в карманах в отчаянном стремлении спрятаться поглубже. Он успел отойти раньше, чем пушистое насекомое выползло из маленького уха. Не странно ли? Реальность разыгрывала сон в своей пьесе, где память была подчинена составленному заранее плану. Кем составленному? Он засвистел знакомую мелодию, и Христос поплыл в вышине над процессией в своем неприступном гробу. Мать быстро укутала его шалью, уже начинало холодать, ты не замерз, сынок? Все вокруг двигалось быстрее, или это только казалось? Траурная процессия устремилась вперед среди дыма и жара свечей. Дай мне еще хоть один шанс, закричал он. Поздно, потому что Христос был уже далеко.

Скамья посреди сада. Он отодвинул разорванную паутину и между пальцев разглядел тело акробата, запутавшегося в веревках сетки, только нога еще продолжала вздрагивать. Он тронул ее, и нога не пошевелилась. Неожиданно он почувствовал, как рука отяжелела и повисла. Что было делать? Если бы не этот расплавленный свинец, стиснувший грудь, кинулся бы прочь по аллее, нашел бы... Нашел! Радость была почти нестерпима: в первый раз я ускользнул, проснувшись. Теперь я ускользну, заснув. Боже, как просто! Он откинул голову на спинку скамьи, нет, каков хитрец! Обмануть смерть, уйти через ворота сна. Надо заснуть, пробормотал он, закрывая глаза. Из серо-зеленой дымки выплыл первый сон как раз на прерванном месте. Лестница. Шаги. Он почувствовал легкое прикосновение к плечу. И обернулся.

Желтый ноктюрн

Звезды я видела, а луну — нет, хотя ее молочно-белый свет разливался по дороге. Я подняла камень и зажала его в кулаке. А где же луна? — спросила я. Фернандо раздраженно стащил пальто и ехидным голосом поинтересовался, долго ли собираюсь стоять как статуя, надо же наполнить бак, а как это сделать в такой чертовской тьме, если никто не желает посветить фонариком. Я сунула голову в машину, все дверцы которой были распахнуты настежь. Распахнутыми дверцами и незадвинутыми ящиками Фернандо тоже выражал свое дурное настроение. Я закрывала двери и задвигала ящики с не меньшей, если не с большей яростью, чем он открывал их. Я взглянула на часы на передней панели.

— Где фонарик?

— В ящике для перчаток, мадам уже изволили забыть?

Через окно я видела большую звезду (Венера?), отблескивавшую голубым. Оказаться бы сейчас на корабле с выключенным мотором, в полной тишине и спокойствии. Или в этой умолкшей машине, только одной, без него. Мне уже довольно давно хотелось быть одной, пусть даже в машине без бензина.

— Все было бы куда проще, не будь ты таким грубым,— сказала я, посветив для проверки фонариком на белый камень у меня в руке.

— Если вас, сударыня, не затруднит, окажите такую любезность — передайте мне фонарик.

Вспоминая эту ночь (а вспоминаю я ее всегда), я вижу,

что она разделила пополам мою жизнь, на «до» и «после». «До» были какие-то незначительные слова, мелкие поступки, ненужные любовные приключения, приведшие к заурядному сосуществованию с Фернандо, которое доставило весьма мало удовольствия, но тянулось долго. Если бы он хоть не спрашивал таким противным голосом, не знаю ли я, кто взял его ручку, или подумал ли кто-нибудь о том, что пора купить новую нить для чистки зубов — старая уже кончается. Нет, не кончается, она просто запуталась там, внутри, и если попытаться снять оболочку (я постаралась сделать это), увидишь, что катушка цела, только нить запуталась. А если она запуталась, то ничего не поделаешь, лучше купить новую, а эту выкинуть. Но я не выкидывала. Я целую вечность старалась распутать невероятно запутанную нить. Что это, страх одиночества? Страх найти себя, которую страстно искала?

— Цеструм,— сказала я, глубоко вдыхая ртом аромат, внезапно принесенный ветром.— Пахнет откуда-то с той стороны.

— Если ужин будет плохой, клянусь, я переколочу всю посуду,— проговорил он, как всегда притворяясь спокойным. Он снял крышку с канистры.— Я намерен поесть рыбы. Будет там рыба?

Бензин, журча, переливался в бак. От земли доносились ночные шорохи. Я пошла туда, *в ту сторону*, ориентируясь по аромату цеструма, становившемуся тем сильнее, чем быстрее я шла. Я почти уже бежала по обочине, концы обшитой бахромой шали разлетались, словно крылья, пришлось прихватить их на груди. Я пересекла заросли кустарника у дороги, юбка моя цеплялась за сухие ветки, конечно, можно было бы подобрать ее, но мне нравилось, что цепкие волосы кустов нежно удерживают меня, а я увлекаю их за собой. Дальше я пошла по тропинке, такой же знакомой, как и дом впереди. Белый и высокий, он был вне времени, но стоял в саду. Сильный аромат, который привел меня сюда, рассеялся — он уже выполнил свою задачу. Здесь, в этой ночи, звезды были больше, чем в той,

другой. Привычным жестом я открыла ворота, ворчливо заскрипели петли, словно впиваясь большими зубами в слой ржавчины,— входи, входи же, девочка! На деревьях ни один лист не шелохнется. Наверху зажегся свет. Тут же осветилось второе окно. Потом три окна внизу по очереди отбросили на веранду желтые пятна, белые выюнки на красных кирпичных колоннах засияли отраженным светом. И вот в дверях показалась Ифижения, на черном платье сияет белизной передник. От радости она, как ребенок, схватилась руками за щеки и, обернувшись, крикнула в глубину дома:

— Это дона Лауринья! Вот хорошо-то, что вы приехали! Я обняла ее. От нее пахло пирогом.

— Из кукурузной муки?

— Ясное дело,— ответила она, рассматривая меня. Она вышла мне навстречу, а теперь остановилась, чтобы разглядеть получше.— У вас новое платье, да?

Я взяла ее под руку. Ей трудно было передвигаться на коротких распухших ногах. Мы задержались на веранде, я, сама не зная почему (во всяком случае тогда я не знала), старалась не попадать в полосу света. Я притянула Ифижению поближе:

— Все дома?

Она ответила мне тоже таинственным шепотом:

— Только Родриго нет.

Я оперлась на колонну.

— Но он не в санатории?

— Уже две недели, как он вышел, разве вы не знали? Успокойтесь, дона Лауринья, ему теперь лучше, он очень переменялся,— сказала она, изучая мою шаль не столько через очки с толстыми линзами, сколько на ощупь.— Таким узором я вязала одеяло для дедушки, помните? Только шерсть была потолще. Мне нравятся белые шали, из белого шелка я связала шаль доне Эдуарде.

Я прервала болтовню Ифижениии. Что с Родриго? Врач же говорил, что ему надо провести в санатории еще месяцев шесть по крайней мере, разве нет? Он убежал? Убежал, Ифижения? Она укутала мое плечо шалью, как когда-то

кутала мне горло шерстяным носком, смоченным в спирте,— первое средство от простуды, не трогай, детка, ах, да это же зеленый носок отца... Но погоди, как Родриго? Он действительно не пьет?

— Совсем не пьет. И вообще в разум вошел, помните, как он раньше кричал? А теперь говорит тихо, совсем переменялся, верно, вылечился,— рассказывала она и, щурясь, разглядывала меня. Короткие волосы ее удивили, ей нравилось, когда я носила до плеч, зачем вы постриглись, дона Лауринья, зачем постриглись?

— Да ведь я уже не девочка.

Она улыбнулась, снова заинтересовалась шалью: я, наверное, заплатила уйму денег, почему же не попросила, чтобы она мне связала? Ифижения подтолкнула меня в дом — в очаге она развела огонь, сухое полено горело так ясно!

— А больше он не пытался, Ифижения? Скажи, он больше не пытался?

Она наивно подняла брови: «Покончить с собой?»

— Нет, дона Лауринья, не пытался и не будет. Бог милостив, а он такой хороший мальчик.

Прихожая оклеена выгоревшими бежевыми обоями с блеклыми розочками. В тяжелой, с потускневшей позолотой раме портрет Педро I, окруженный изображениями суровых мужчин и негибаемых женщин в черной тафте, дерзко разбежались узоры трещин по кружевному воротнику моей португальской бабушки, который упирается прямо в подбородок цвета сепии. Горка с безделушками из фарфора и нефрита. Широкая дорожка красного бархата вдоль всего коридора предлагает свои молчаливые услуги и отведет меня в лоно — в лоно чего?

— А еще у меня есть бисквит с сахарной пудрой, как вы любите,— объявила Ифижения и сняла с меня шаль. Какими-то особо ласковыми движениями она сложила ее и повесила на руку.— Я всегда всем стараюсь услужить, а вот обо мне никто не думает. Мне так хотелось одной вещи, я столько просила об этом, помните?

Я тут же поняла, конечно же, я помнила — поездка!

Я обещала отвезти ее в Апаресиду, она хотела выполнить обет, и я предложила отвезти ее и даже убедила отказаться от поездки на автобусе: позволь, я сама тебя отвезу. И так и не отвезла. Но я же не со зла, Ифижения, я закрутилась, забыла, ты меня простишь?

— Что надо прощать? — слышался сзади чей-то голос. Душа?

Она любила появляться исподтишка, на цыпочках, в своих мягких туфлях цвета обоев. Я заметила, что грудь у нее под купальником, гимнастическим черным купальником, по-прежнему плоская, а талия прямая, как у тринадцатилетней девчонки. Подчеркнуто равнодушно, но как всегда вежливо, она поцеловала меня. Я едва удержалась, чтобы не оттрепать ее за волосы, дурешку.

— Ваша сестра обещала отвезти меня на машине в Апаресиду, и я все жду до сих пор, — сказала Ифижения и погладила мою шаль, словно кошку. — Если бы я знала, что так будет, давно бы на автобусе съездила.

Душа приняла позу отдыхающей балерины и поглядела в потолок.

— Мне она тоже кое-что обещала и не выполнила. Мы менялись — я ей желтый свитер, а она мне большое зеркало, ну то, с ангелочком, мне оно просто необходимо, чтобы заниматься у себя в комнате. И чем же дело кончилось? Моя сестрица берет свитер, «да-да, завтра же принесу тебе зеркало», пообещала она. И что же? Я по-прежнему (Душа зажмурилась, притворяясь, что плачет) занимаюсь перед вот таким крошечным зеркальцем!

Я потянулась обнять ее, но она увернулась — растреплю еще ее туго стянутые резинкой и заколотые на затылке волосы. Вот еще, телячьи нежности, подай-ка мне мое зеркало, казалось, говорила ее насмешливая улыбка. Сердце у меня дрогнуло от радости и боли: от ее черного купальника пахло нашими глубокими шкафами, развешанными там мешочками с ароматическими травами.

Прошрое, смешанное с будущим, горячо дохнуло на меня от очага. Или от свечей? Я погасила их, нет, не надо свечей,

не надо, слушай, Душа, завтра же, завтра! Ты мне веришь?
Завтра!

— Тс-с-с,— прошипела она, потому что в гостиной бабушка принялась за вальс Шопена.

— Душа,— начала я снова, но больше ничего не успела сказать.

Она выпрямилась, вскинула голову. И, позабыв обо мне, о зеркале, обо всем на свете, как призрак, поплыла по коридору, я артистка, говорило каждое ее вдохновенное движение, исполненное высокомерия. Я артистка!

— Точно фея,— вздохнула Ифижения, обхватив меня за талию, и мы пошли по красной дорожке.

До сих пор чувствую, как колотилось у меня сердце, я даже поглядела на Ифижению — не слышит ли она? Но играло пианино. Я провела кончиками пальцев по шелковистому подлокотнику деревянного дивана, по мягко изогнутой шее лебедя, вырезанного на сиденье, который вот-вот погрузит клюв в перья крыла. Рядом — еще одна горка с чашечками из фарфора, тонкого, как яичная скорлупа, знаменитый миниатюрный сервиз, мечта моей жизни. Нельзя! — сердилась бабушка, это не игрушки, ты все перебьешь. Я не разбила, я проглотила чайничек для заварки — у меня была привычка: все, что может пригодиться для кукольного чая, я прятала за щеку, а потом выплевывала. Я снова почувствовала, как чайничек с трудом проходит в горле.

— Я так рада, Ифижения.

— Так что же вы плачете?

Я быстро вытерла глаза подолом ее передника, и — удивительное дело! — на белоснежном батисте не осталось ни следа моей туши, только чистые влажные пятна слез. Я так и не поняла, какие глаза плакали — нынешние или те, прежние.

Гостиная словно дрожала в отблесках камина, бросавшего красные блики на зеркала, на люстру. Дедушка сидел в своем кресле с высокой спинкой и играл в шахматы с учителем Эдуарды, ведь это же учитель Эдуарды? Эдуарда брала уроки немецкого, а немец — такой милашка! —

сообщила Дúша. Значило ли это, что немец уже свой в доме, хотела я спросить, но Эдуарда меня не видела, она углубилась в приготовление напитка на столике в глубине комнаты. В волосах у нее цветок — знак радости, ты влюблена, Эдуарда? Бабушка в парадном платье — милая, дорогая бабушка! — все ниже наклоняя голову над клавиатурой, убыстряла темп, она поспевала за Дúшей, которая обвивала рояль гирляндами своих па. Я видела, как Ифижения мелкими шажками, тяжело дыша, направилась в глубь комнаты и стала расставлять на столике стаканы. Эдуарда приготовила пунш. И себя я видела, постаревшую, но в то же время сохранившую какую-то непонятную наивность, которая позволяла мне вести себя естественно в кругу знакомых лиц. То одно, то другое вдруг открывало мне что-то новое в этом давно прошедшем вечере. Я обогнула дедушкино кресло, обняла за шею. В ответ он приветственным жестом поднял руку с ладьей, которой собирался ходить.

— Вы знакомы с этой моей внучкой, профессор? Она у нас самая большая умница в семье, да, детка?

Немец (он оказался выше, чем мне представилось сначала) напомнил, что нас уже познакомили, и, лукаво улыбаясь, сообщил, что Эдуарда много обо мне рассказывала. Я не поверила ему, но вынуждена была опустить глаза под его пронизательным взглядом. Он повернулся к дедушке, который еще не поставил ладью:

— Ваш ход.

Тут Эдуарда меня заметила и принесла стакан пунша. Она была такая молодая с распущенными волосами и без всякой косметики, что мне показалось — вот она, сама юность. Она быстро поцеловала меня и протянула стакан: попробуй, кажется, я переложил сахара, не слишком сладко? Бабушка позвала меня присесть на табуретку у рояля, за ним я уголком глаза заметила большие часы, они показывали девять. В стакане на иссиня-красной жидкости плавала слива без косточки.

— Ну пей же, не отравишься, — велела она, и смех ее был

так доверчив, что я поняла всю несправедливость течения времени, мне хотелось вскочить и остановить маятник: стой! Я выпила пунш, разгрызла ледяную сливу и проглотила кусочки еще каких-то фруктов — Эдуарда хранила в тайне рецепт этого напитка.

— Осторожно, дедушка,— сказала я,— у тебя конь под угрозой.

Возлюбленный Эдуарды подмигнул ей:

— Коня уже не спасти.

Дедушка посмотрел на коня. Потом на меня. И, потрясая рукой, изобразил гнев, которого, конечно же, не испытывал. Он обвинил меня в том, что в нашей последней партии я смошенничала, да-да, смошенничала! Неужто я думаю, что он не заметил? Ты улучила момент, когда я пошел за свитером, и передвинула ладью, которая прикрывала мою королеву! Иначе разве я проиграл бы так позорно?

— Она украла у дедушки ладью! Украла ладью! — закричала Дúша, прыжком приблизившись к нам и снова отбегая, как бы в ужасе, изогнувшись и распахнув руки, словно ее подхватил ураган.— Она украла у меня зеркало, а у дедушки — ладью!

— Украсть жениха у двоюродной сестры куда хуже, чем ладью,— прошептала Эдуарда, беря меня за руку.

Мы отошли к окну. Глаза у нее были фиолетовые, как пунш. Я опустила веки, Эдуарда, мне так хотелось объяснить тебе все, но у меня духу не хватало, а теперь слушай: он сказал, что вы разошлись, что у вас все кончено.

— Он это сказал?

— Я не виновата, Эдуарда, когда у нас все началось, я была уверена, что вы порвали, что больше не любите друг друга, я не думала, что предаю тебя!

— Да?

Я увидела звезды совсем близко. И близко пахло ароматом ночи, этот запах вернул мне ощущение целостности, я стала настоящей. Я посмотрела Эдуарде в лицо, первый раз я посмотрела ей прямо в лицо. Надо ли говорить? Правда надо? Мы глядели друг на друга, и мои мысли пе-

реливались по моей руке в ее руку. Да, я была ревнива, не уверена в себе, хотела как-то утвердиться, а вышло из этого только разочарование и муки. Родриго (о боже, Родриго!) был моей любимой любовью, пусть это была любовь суматошная, внезапная, безумная, но любовь. Я думала, что смогу освободиться от тебя, что я придумала выгодный обмен, но я плохо рассчитала, довольно быстро я поняла: предательство губит любовь. Ты была всюду, Эдуарда,— на улице, в ресторане; в кино, в постели. Однажды мне почудилось твое дыхание. Это становилось невыносимым, и как-то раз, когда он зашел в кабинку послушать пластинку, я не выдержала и сбежала — мы были в магазине, покупали пластинки, я хочу поставить эту, сказал он, входя в застекленную кабинку, подожди меня. Я отошла к витрине, словно что-то разглядывала, и решила — сбежала, опустив голову, не глядя по сторонам. Эдуарда, скажи, что веришь мне, скажи!

Ее потемневшие глаза постепенно светлели. Теперь все хорошо, Лаура, мы снова вместе, казалось, говорила она. Теперь мы навсегда вместе — она сжала мне руку. Но больше печалиться мне не дала. Эдуарда взяла кусок бисквита, который принесла Ифижения, поднесла к моему рту: ешь, ты очень худая, тебе надо побольше есть, и не грусти. Я вдруг почувствовала себя совсем никчемным человеком: ладью у бабушки украли, сказала я, но тут же поперхнулась бисквитом. Эдуарда расхохоталась так же, как на кукольном чае, когда я проглотила чайничек для заварки. Ее браслет — золотое кольцо — зацепился за мое платье, и она безуспешно попыталась освободить его, ладно, пусть тебе останется в знак нашего нового союза, ты ведь всегда любила такие символы. Браслет, уже отцепленный от платья, долго не снимался с руки. Это было цельное кольцо, надевалось прямо на руку, а теперь не снимается, потолстела я, что ли? Я потолстела от счастья, я очень счастлива с моим немцем, чудесно, правда? Огонь камина отблескивал в ее лице, как в люстре, как в зеркале: я так люблю, что мне хочется кричать! Она обхватила меня и закружила в танце, мы хо-

хотали как сумасшедшие, пока не оказались возле рояля, и Эдуарда передала меня бабушке — посиди здесь, я пойду выручать моего любимого, а то дедушка опять засадит его за шахматы. Вдруг она стала серьезной и сжала мне руку.

— Скоро появится Родриго.

— Кто? — спросила бабушка. Она подвинулась, чтобы я села рядом с ней.— Кто появится?

— Родриго,— ответила Душа, мягко всплеснула руками и опустилась на подушку. Она наклонилась завязать ленту на туфле, и я увидела малыша на ковре. Он был в пижаме и играл разноцветными кубиками. Был ли он здесь, когда я пришла?

— Ты похудела, Лауринья,— посетовала бабушка, изучая меня любящим, но придирчивым взглядом. Не слишком ли я накрашена? Куда лучше было бы обходиться без косметики, как Эдуарда. Почему я так дрожу? Ты совсем замерзла, детка, выпей чаю, сказала бабушка, протягивая мне чашку. Это из-за него ты так нервничаешь? Из-за Родриго? Имя она произнесла совсем тихо.

Ее аккуратно уложенные волосы отливали сиреневым, и я подумала о фиалках. Она старалась успокоить меня так же, как успокаивала в детстве, приходя пожелать мне спокойной ночи, она говорила, что никаких привидений нет, все это выдумки, спи спокойно. Родриго? Но он же вылечился, не беспокойся, было ухудшение, и очень серьезное, я не скрываю, но все прошло. Все прошло. Вчера, например, мы с ним беседовали, он собирается снова приступить к занятиям, строит разные планы, сказала она, но я увидела в ее глазах (или в своих?) какую-то затаенную мысль. На миг мне почудилось, что вся она соткана из влажной сиренево-голубой, как ее волосы, пряжи. погоди, не уходи! — попросила я, а может, и крикнула. В камине огонь постепенно затухал.

— Иногда страх возвращается,— сказала я.

— Но чего же ты боишься, дорогая моя? Ты не влюблена? Тогда тебе надо влюбиться,— сказала она, поглядывая на мои руки.— Заветного колечка нет? И никого нет?

А вот Эдуарда, она же твоего возраста (бабушка задумалась, вертя в руках пенсне), разве вы не одних лет? Я всегда думала, что вы ровесницы, Ивон была беременна, когда твоя мать ждала тебя... (Она посчитала по пальцам, но сбилась.) Я хотела сказать, что Эдуарда так внезапно влюбилась, вообще все это как снег на голову. Они поженятся в декабре, чудесно, правда?

Голос ее звучал уже по-иному; она рассказывала подробности: после свадьбы они поедут в Германию, его родители живут там в городке с забавным названием Ульм, а после визита к родителям они собираются путешествовать по всей Европе. Душа спит и видит, как бы поехать с ними, она мечтает учиться балету в Париже, проказница! Только не нравится мне, что они собираются лететь самолетом, что за страсть у молодых к этим самолетам? Насколько лучше пароход, по морю так приятно путешествовать, я до сих пор помню, как мы с дедушкой плыли в Италию на итальянском корабле, сколько было всяких игр, затей, праздников! А лучше всего было сидеть на палубе в шезлонге, прикрыв ноги пледом, и читать какой-нибудь роман Конан Дойла. Или просто смотреть на море.

— Он еще думает обо мне?

Бабушка помедлила. Потом сложила, как книгу, раскрытые ладони. Кто? Родриго? Да, думает, но не так, как прежде, без боли, без упреков, он очень изменился после попытки к самоубийству. Если бы он мог куда-нибудь поехать, попутешествовать по морю на корабле вроде того, итальянского, нет, она не помнит названия, смешно, правда? Но чаек не забыла. И ветер тоже.

— Где он достал револьвер?

Слово «револьвер» ударило ее в грудь, как чайка. Или рыба. Она испуганно стряхнула крошки бисквита с платья. Вытерла уголком носового платка каплю чая, упавшую на клавиши. Револьвер? Откуда же ей знать? Он был всегда таким скрытным мальчиком, выдумал себе какой-то особенный мир и никого туда не пускал.

— Он меня звал туда, но я отказалась.

Душа оперлась на локти и подползла по ковру к самым моим туфлям.

— Какая прелесть эти золотые каблуки! — сказала она, знаком попросив меня нагнуться, и шепнула на ухо: — Пуля прошла совсем рядом с сердцем.

— Они попадут туда в самые морозы. Если бы они плыли пароходом, они успели бы привыкнуть к перемене климата, — вздохнула бабушка. Она резко обернулась к Душе, которая показывала на рояль — хочу танцевать, играй, играй! Подожди, детка, если тебе отдых ни к чему, то мне все-таки надо передохнуть.

Я посмотрела на тяжелые шторы. На горку, которая, по-моему, потускнела под тонким слоем пыли. Время вас не коснулось, сказала я. Вы все такие же. Такие же.

— Рояль изменился, — откликнулась бабушка, улыбаясь и беря звучный аккорд. — Я его настроила, помнишь, какой он раньше был? А ты ничего не знаешь, потому что не навещаешь меня. Я болела, выздоравливала, снова болела, а ты ни разу даже не позвонила. Я могла бы умереть, а ты бы и не узнала, потому что ни разу не подняла трубку, чтобы справиться, как поживает бабушка.

— Бабушка, дорогая, ты же знаешь, как я вас всех люблю. Я и правда надолго пропадала, но я же люблю вас.

— Я знаю, Лауринья. Но мне бы хотелось доказательств, это для меня так много значит.

Душа скроила рожицу:

— Нехорошо, Лаура! Красная Шапочка пошла через лес, где жил волк, только для того, чтобы отнести своей бабушке пирог. А бабушка ее всего-навсего простудилась, ведь правда, простудилась, и все? — Душа встала на пуанты, собираясь танцевать, и улыбнулась: — Она не отвезла Ифижению в Апаресиду, не отдала мне зеркало, украла у дедушки ладью, у Эдуарды — жениха и не навещала тебя.

— Танцуй, танцуй, Душа, — сказала бабушка и заиграла какую-то рваную, диссонирующую мелодию. — Начинай!

— А кроме того, она еще оказалась *femme fatale**, —

* роковой женщиной (франц.).

скороговоркой добавила Душа и представила, будто берет пистолет, наводит его себе в грудь и спускает курок. Пум! (Она покачнулась, уронила воображаемый пистолет, вытянулась на подушках, прижала правую руку к груди, левой слабо взмахнула в прощальном жесте.) — «Я покончу с собой в марте, если ты будешь и впредь холодна», — продекламировала она задыхаясь. Потом вскочила: — Почему именно в марте? Кто его знает, но если поэт уверен, что в марте, пусть так и будет... (Она отбежала, соединив руки над головой.) В марте или в апреле?..

— Прелесть что за девочка, но немного утомительна, — прошептала бабушка, наклоняясь поцеловать меня. — Эту музыку я сама сочинила. Тебе нравится? Я назову ее «Желтый ноктюрн».

Когда я собралась подойти к камину, огонь вдруг вспыхнул, точно из последних сил старался разгореться поярче. Ифижения коснулась моей руки, я думала, она хочет еще чем-то угостить меня.

— Родриго пришел.

Я закрыла лицо руками, но все равно видела его, одетого в неизменные потертые джинсы и блузу с заплатами на локтях. Он взял мои руки, отвел от лица. Глаза его горели как угли, но улыбка была прежняя. Он ждал. Когда я наконец смогла заговорить, угли уже подернулись пеплом.

— Я отвергла тебя, Родриго. Я предала тебя и предала Эдуарду. Но мне хотелось бы, чтобы вы знали, как я вас обоих любила.

Он пригладил мне волосы, поднес спичку к сигарете. Усмехнулся:

— Кого же и предавать, как не самых близких? — Он продолжал уже серьезно: — Мы были очень молоды.

Были? Я подняла голову. Я уже не боялась, что он меня увидит, пусть глядит, как меня потрепала жизнь, значит, он знал? Я услышала свой голос откуда-то издалека:

— Я всю ночь каялась, не хватало только, чтобы ты... О боже! Мне так надо было увидеться с тобой. — И я положила руку ему на грудь.

Он вздрогнул. Тогда я вспомнила. Больно еще, Родриго? Перевязки не кончились? Он дал мне стакан с пуншем и заставил выпить: не нужно беспокоиться, просто он недотрога, а у всех недотрог это место самое чувствительное, да и шрам медленно зарубцовывается.

Говорить нам не надо было. В душе у меня (и у него) царило спокойствие. Тишина. Я озябла и пошла за шалью. А когда вернулась, его уже не было. Где Родриго? — спросила я Ифижению. Она вела за руку упорно сопротивляющегося малыша. Где Родриго? Ведь он только что был здесь!

— Тетя, смотри, я умею показывать быка! — крикнул малыш, приставив ко лбу два пальца. — Смотри, я бык!

Все вдруг покатилося куда-то невероятно быстро. А может, медленно? Я видела, как дедушка прошел к двери в глубине гостиной, поднял с пола ключ, положил его на прежнее место и вышел, закрыв за собой дверь. Потом мимо меня с тростью прошла бабушка в пенсне, кивнула мне и, оставив ключ на старом месте, исчезла вслед за дедушкой. Я видела, как Эдуарда помогает жениху надеть плащ, но куда же вы все? Однако она либо не расслышала, либо не поняла. Эдуарда и немец, смеясь, направились к двери. Душа проскочила между ними, схватила ключ, стала на одно колено, ключ положила на другое, поклонилась, как средневековый паж, предлагающий свои услуги. Я отвернулась, мне больно было смотреть на это. Мне было стыдно, и я не обернулась, когда прошла Ифижениа, волоча за руку упирившегося мальчика — он не хотел прекращать игру, — нельзя, мой хороший, не капризничай, веди себя как следует. Слезы застлали пирамиду, которую он воздвиг на ковре. Когда я снова смогла смотреть, в гостиной уже никого не было. Я видела шахматную доску с незаконченной партией. Открытый рояль (доиграла ли она свой ноктюрн?). Книгу на камине. Недопитую чашку с чаем. Заколку, забытую Душей на подушке. Пирамиду. Почему предметы (и незаконченные дела) волновали меня сейчас больше, чем люди? Я взглянула на люстру — она погасла, и камин тоже.

Я вышла в парадную дверь и вдруг поняла, что за той

дверью, куда они все исчезли, нет ничего. Там просто поле.

Я прошла по саду, который уже не был садом. Не было ни ворот, ни аромата. Тропинка (сильнее заросшая или мне показалось?) вела к шоссе. Двери машины распахнуты, фары зажжены. Фернандо закрывал канистру.

— Я очень долго?

Он надел пальто. Закурил сигарету. Долго ли меня не было? И как я вернулась оттуда?

Я села в машину и погляделась в зеркальце, осветив его фонариком,— косметика в полном порядке.

— Сколько времени?

— Ровно девять. А что? — спросил он, включая радио, и положил руку мне на колено: — Ты красавица, моя дорогая, но такая холодная, далекая... Что за мерзкая музыка! — воскликнул он, настраивая приемник на другую волну.— Интересно, каким ужином нас накормят? Сегодня мне хочется рыбы.

Через стекло я смотрела на Млечный Путь. Потом закрыла глаза. С силой сдавила браслет, который так и остался у меня на руке.

— Смотри, это не белка?! — крикнул Фернандо, возбужденно показывая на дорогу.— Вон там, видишь?

— Может, заяц?

— Для зайца слишком поздно.

И для белки тоже, подумала я или даже проговорила вслух. Но он меня уже не слышал.

В сауне

Эвкалипт — да, именно эвкалипт был запахом Розы, ее мира настоек из диких трав, зеленоватых напитков в стеклянных банках, пылившихся на полках. Этот влажно-зеленый запах я почувствовал, когда она встала в окне, чтобы позировать мне для портрета. Моросил дождь, и тепловатый пар поднимался от земли вслед за восходящим солнцем. Это мой первый портрет, надо, чтобы он удался, проговорил я, и она вся сжалась в окне. Я коснулся губами ее лба — ну, расслабься, не думай о том, что я сказал, думай только об апельсине, можешь разговаривать, если хочешь, только не шевелись, стой спокойно и держи апельсин. Я обозначил первыми штрихами овал лица — она была так серьезна, будто фотографировалась для документа. Застывшая Роза, сказал я. Она улыбнулась и провела кончиком языка по губам. Но бледные губы не заблестели. Милая моя Роза-Малокровка, кончать тебе надо с этими травками и приниматься за бифштекс с кровью, мясо тебе надо есть — вот что! Это был мой лучший портрет. А где он теперь? — спросила Марина. У нее, наверное, ответил я. Хотел бы я знать, где они сейчас оба — и портрет, и Роза. Больше тридцати лет прошло, если не ошибаюсь?.. Да, многовато.

Банщик в белом фартуке решил, что это я про сауну, и поспешил предупредить, что я могу выйти, когда захочу.

— Нет-нет, ничего, это я так.

— Сеньор у нас, наверное, в первый раз? — спросил он, вытаскивая из шкафа сложенный вдвое купальный халат и ставя поверх него пластиковые шлепанцы. — Тут у нас и артисты бывают, в основном массаж заказывают. Сеньор не будет делать массаж?

— Нет, только сауна.

— Говорят, в Токио этим занимаются прехорошенькие девочки, сделают все, что ни попросите. У нас, конечно, тоже такие есть, но Восток — это другое. Сеньор не был в Токио?

Теплая, пушистая ткань халата. Музыка. И сильный запах эвкалипта. Я вытаскиваю платок и промокаю лоб. Расстегиваю воротник. Чтобы показаться ему симпатичным, нужно сейчас улыбнуться... как в Токио, совсем просто быть симпатичным. И так трудно. Теперь уже трудно. Симпатичность приедается быстрее всего, такой симпатичный модный художник. Не из первого десятка, но средние буржуа думают, что из первого, и покупают все, на чем стоит моя подпись. Но ты ведь разбогател? Может, нет? Может, ты не хотел этого? Тогда помалкивай, все в порядке, никаких проблем. Я покорно следую за белым фартуком, в таких местах я покорен предельно. Подошвы резиновых шлепанцев мелькают у меня перед глазами, приклеиваются и смачно отскакивают от зеленого линолеума дорожки.

— Сеньор будет сгонять вес?

В аду следовало бы завести дополнительный круг — для спрашивающих. Пусть себе там спрашивают сколько их душе угодно — ваше имя? возраст? вам массаж или душ? костер или виселица? — и так без конца. Без конца. Марина тоже одно время много спрашивала, а теперь только смотрит. Время спрашивать и время смотреть. Взгляд то погружается в себя, то уходит в сторону, то снова в себя. Она потрясающе считает. Ей бы заняться бухгалтерией в этом их женском движении. Но они там, похоже, все больше интервью берут. Вопросы задают. В свое время она столько спрашивала о Розе, так внимательно слушала, что ее любопытства с лихвой хватило бы на нас обоих. В одно из воскресений она даже заставила меня отвезти ее к тому дому, она хотела увидеть все: дом, сад, окно, в котором позировала Роза! Но на месте того дома выстроили сумрачное здание с узкими балконами, на которых болталось белье на веревках. Ну вот, это было здесь, сказал я. Но,

несмотря на некоторое облегчение (прошло, все прошло), неожиданная грусть, почти тоска, охватила меня, будто у меня что-то отобрали — что? Словно старый дом хранил воспоминания о моих давних надеждах — сколько планов, веры в себя! Пока жил дом, было живо и прошлое: Роза-Труженица со своими настойками и рамками для картин, все еще только будет, моя страсть, моя жажда признания, сколько минуло с тех пор? Лет двадцать? А сколько было дорог впереди, какую же выбрать? Ту или эту? Серый дом, изборожденный водосточными трубами и потеками от дождя, был мне ответом. Я уже собрался уходить, но Марина не дала: ну нет, тебе не удастся так легко сбежать отсюда. Эта идиотская мания копаться в том, в чем копаться не следует, ну, смотри, смотри, ты это хотела увидеть? Нет дома, нет портрета, нет Розы, ты довольна? Марина зажгла сигарету — верный признак того, что намерена начать беседу. Когда живешь столько лет вместе, нетрудно догадаться, собирается твоя жена говорить или нет. Я тоже закурил и стал ждать. Значит, ты хочешь сказать, что Роза продала дом, чтобы ты мог уехать. Вопрос-утверждение, Марина мастер на такие штуки. Но я тогда как раз получил премию на поездку, ты забыла про премию? Она не забыла, но тут же напомнила, что в одну из наших первых встреч в Париже я сказал, что хотел бы остаться здесь еще немного, и еще я сказал, что должен получить деньги из Бразилии и что эти деньги за проданный дом, не тот ли это самый дом? И не от Розы ли должны были прийти деньги? Ну и въедливая эта Марина! Когда мы поженились, я и представить не мог, что такая въедливая. И что у нее такая память, похоже, я наговорил лишнего. Если бы пришлось жениться снова, я открывал бы рот, только чтобы попросить солонку. На балконе второго этажа серого дома сушилось желтое полотенце. И пеленки, немыслимое количество пеленок. Или это посудные полотенца? Как ты думаешь, это посудные полотенца? — спросил я, указывая на балкон. Она швырнула сигарету в окошко машины и подняла глаза: пеленки. Я нажал кнопку радиоприемника на освещен-

ной панели, и из него полился голос: *Ne me quitte pas! Ne me quitte pas!** Мелодия навевала грусть, хотелось остаться. И, может, услышать эти слова без музыки? Роза не просила, она только так думала. Ну, раз уж у тебя такая хорошая память, медленно начал я, что и компьютеру за ней не угнаться, ты, надеюсь, помнишь, что, когда я уезжал, Роза была беременна, я не сообщил тебе эту маленькую подробность в Париже, сказал потом, помнишь? Ну разумеется, помнишь, а как же иначе, а может быть, ты вспомнишь, что у нас не было денег на аборт, да, такая вот незначительная деталь, душа моя, у нас не было денег, мне не удалось продать ни одной картины, Роза ушла из аптеки, и у нее остались только дом и сад, но садом, к сожалению, сыт не будешь и за аборт не рассчитаешься, а? Как по-твоему? Я с силой сжал ее запястье, мы любили развлекаться такими шуточками, которые иногда кончались кровотечением из носа. Она вырвала руку: пусти, мне больно, грубиян! Я поцеловал ее в запястье и смягчил голос: я хотел тогда продать мой билет до Парижа и отдать ей деньги на врача, она не согласилась, я ведь уже говорил тебе об этом или нет? Она верила в меня, она меня любила. И понимала, как важна была для моего будущего эта возможность учиться в Европе, узнать людей, наладить нужные связи. Она сама настаивала на продаже дома, он стал слишком велик для нее одной — дядя в приюте для престарелых, я далеко и неизвестно когда вернусь, кому нужен такой большой дом? А беременность, между прочим, не ждет, и врачу надо платить, и что было делать? Да, для тебя аборт никогда не был проблемой, я знаю, — маленькая сахарозаводчица, слоняющаяся от скуки по миру; сеньоре Марине, наверное, вообще смешна такая нищая любовь. Но так было. Да, нынче все проще, не тебе ли, борцу за эмансипацию, знать, что теперь у твоих сестер по полу есть пилюли, ясли, психологи, по крайней мере, этого требуют вы на всех своих митингах. А тогда, или ты забыла? Не было пилюль, ничего не было. И если она все-таки послала мне чек после этого треклятого

* Не покидай меня! Не покидай меня... (франц.)

аборта, так только потому, что хотела, чтобы я целиком использовал свою премию, потому что она верила в меня, как никто и никогда не верил. Я весьма красноречиво подчеркнул это «никто». И зря старался — Марина уже не обращала на меня внимания. Она достала расческу и привела в порядок волосы. Потом поймала мой взгляд в зеркальце над стеклом: она же работала в какой-то аптеке, кажется, в гомеопатической, ты говорил что-то вроде этого. Прилично зарабатывала, была вполне независима, даже могла содержать немого дядю, разве не так? Но вот появился ты и стал жить в ее доме. Дядю пришлось поместить в богадельню — тебе ведь нужно было помещение для мастерской. Роза ушла со службы, потому что кто-то должен был делать рамки для твоих картин, или я ошибаюсь? Подожди, я еще не кончила. Разумеется, ты начал делать успехи — премии, выставки, и надо же так случиться, в это самое время — «треклятая» беременность, которая неизбежно поглотила бы все средства, отложенные на поездку. Естественно, выход один — продать дом. Иными словами, она осталась без дома, без работы, без ребенка и без тебя — ты уже сидел на чемоданах. Ах да, чуть не забыла: еще и без дяди, он был хотя и немой, однако, судя по всему, мог составить компанию, по крайней мере, он мог слушать. Как говорится, все кануло, и можно заключить, что твое появление не принесло ей выгоды. Впрочем, оставим язык коммерции, ты ведь ее любил, а когда любишь... Она вытащила из сумочки плитку шоколада и начала задумчиво жевать. Кстати, что касается моих сестер, то если знать их, как я, можно сказать даже больше, мой любезный. Да, даже больше. Я думаю, что Роза мечтала об этом ребенке, она любила тебя, а когда женщина так любит, она сразу начинает думать о ребенке, первое, о чем думают в двадцать лет, — это о ребенке. Я знаю, вы не состояли в браке, я видела документы, мой муж не двоеженец. Но то, что вы не были женаты, не означает, что она не хотела (Марина сделала паузу, изучая разорвавшийся шов на сумочке) выйти замуж, иметь кучу детей и вообще чтобы все было как у людей.

Но это не входило в твои планы, мой дорогой, и она, видимо, смирилась, чтобы не потерять тебя. Вот именно чтобы тебя не потерять. Она была бы просто поражена, если бы узнала, что идея с абортом, оказывается, принадлежала ей. Неужели действительно ей? — спросила Марина и перевела восхищенный взгляд на небо: посмотри, какой закат. Какая синева! Поедем за город! Я отвернул лицо, потому что оно потемнело от гнева. Ну вот, теперь она довольна, душевный покой восстановлен, ибо я раздавлен и унижен. И одинок. Просто кончилась любовь, сказал я негромко, мы как раз въезжали в ворота загородного отеля. Какая любовь? — спросила она простодушно.

— Сеньор не выпьет чашечку кофе? Только что приготовили.

Банщик в фартуке делает знак негру, тоже в фартуке и с подносом в руках. Я снимаю пиджак, кладу его на стул, и банщик спешит освободить меня от сложенного вдвое халата и шлепанцев. Мне кажется, что я держу этот халат уже несколько часов подряд. Несколько лет. Я беру чашку и после первого же глотка понимаю, что кофе я не хочу, что я хочу только влезть наконец в эту проклятую сауну и покончить со всем этим, зачем я взял кофе? Я наклоняю чашечку, и черная кофейная гуща сваливается мне на язык. Я возвращаю чашку и благодарю: кофе был превосходный. Запах эвкалипта наплывает теплыми волнами. Я расстегиваю воротник и направляюсь к большому стеклянному резервуару с голубовато-зеленой минеральной водой. Но банщик начеку, он спешит вперед, обгоняя меня на ходу:

— Только немного, пожалуйста, если сеньор не против.

Я не против. Пузырься, вода поднимается вверх и оттуда низвергается в бумажный стаканчик. Она говорит, что я эгоист. Корыстолюбец и эгоист. Надо постараться узнать самого себя, взглянуть в глаза правде, повторяет она без конца во время наших дискуссий. У нее куча идей, у этой маленькой Марины, и она здорово переменялась, ого как переменялась. Феминистский лидер. С другими такими же ненормальными редактирует газету, создает ячейки. Все большие

интеллектуалки, страшно интересно. Исступленные лица библейских пророчиц, вещающих перед малыми сими. Чрезвычайно просвещенные девицы. И Марина во главе. Теперь она решила пролить свет на мое прошлое. Эмансипация. Кончают они обычно самоубийством или сумасшедшим домом. Я сжимаю стаканчик. Полные идиотки. Я пытаюсь попасть в корзинку и промахиваюсь. Эти их вымученные теории, равенство, ответственность! Какая ответственность! Розе нужен был мужчина, как всем им, вплоть до пресловутых лесбиянок, кончающих в конце концов в объятиях собственных папаш. Ну хорошо, допустим, я дерьмо. Надеюсь, она нашла кого-нибудь получше, опору в жизни — не этого ли я хотел? Не этого ли хотят они все? Роза-Травница. Хрупкая Роза. Ее глаза были как два эвкалиптовых листочка, точно как на портрете, я понял, что они хороши, только когда начал писать их. Время от времени Марина интересуется: где теперь портрет? И каждый раз (она все ждет, что я ошибусь) я отвечаю ей, что оставил портрет Розе и теперь он, вероятно, висит у нее в гостиной, где по субботам собираются на покер несколько супружеских пар из соседних домов, друзья, достаточно близкие, чтобы ради них выставить на стол бутылочку пива из холодильника. Самый образованный, из тех, что смотрят по телевизору передачи об изобразительном искусстве, восхищается портретом. И назначает цену, которая растет вместе с курсом доллара; этот портретик стоит теперь небольшого состояния, безусловно, одна из лучших его работ. Его тогда еще не покупали, надо думать, это ведь самое начало? — спрашивает знаток, гоняя без конца зажеванную спичку из одного угла рта в другой, жена не раз говорила ему, что так можно поранить рот, но он не из тех, кто отказывается от своих привычек. Остальные приглашенные слушают его с почтением, как экскурсовода где-нибудь в Буэнос-Айресе. Ну и, разумеется, новый дом (Марина смотрит на меня с усмешкой) должен сохранять дух прежнего жилища. Аромат эвкалипта, струящийся из флаконов с эссенциями, выдержанными в подвалах, — Роза считала, что духи должны

выстаиваться какое-то время, как вина. Мебель предельно проста. Высокие деревянные вазы. Вьющиеся растения. Навес для автомобиля в правой стороне небольшого сада, машина должна стоять под брезентовым навесом, серьезному дантисту без машины нельзя. Так она вышла замуж за дантиста? — прерывает меня Марина, она уже не усмеивается. Теперь моя очередь развлекаться: не знаю, думаю, что да, к нам ходил один, когда мы еще жили вместе, так сказать друг дома, у него был небольшой кабинет в нашем квартале. Может, ты у него еще и зубы лечил? — интересуется Марина. У этого дантиста. Нет, отвечаю я, у меня был другой. Я отлично понимаю, что она хочет сказать, когда смотрит на меня; тонкие губы слегка подергиваются. В последнее время они стали еще тоньше, что придает лицу холодное выражение. Это подтяжка так заострила ее профиль? Занятно. Итак, эта заядлая феминистка не желает «принять на себя» женскую старость? Не желает гордо заявить о своих пятидесяти? Я бы очень хотела увидеть этот портрет, говорит она и вновь углубляется в доклад, она вечно читает какой-нибудь доклад, свой собственный или очередной интеллектуалки из их ячейки. О, одиночество! Оно прилетает, берет меня в свой клюв и тотчас же бросает, и я лечу и не знаю, за что мне зацепиться — ничего и никого вокруг. Вначале она интересовалась моей работой, но потом постепенно стала отдаляться все больше и больше. Да, конечно, в Париже я сжег за собой все мосты, и она это знала (измена разрушает любовь, говорила она тогда), нет, ну не комедия ли? Требовать, чтобы я сообщал ей каждый раз, как ложился с кем-нибудь в постель, чтобы я приходил и говорил: знаешь, дорогая, я сейчас был у Карлы, мы послушали музыку, немного выпили, а потом занимались любовью с трех до шести. Видишь, я ведь не скрываю, и потому это уже не измена, ведь измена — когда обманывают, а я сказал все начистоту, и поэтому ты должна быть ко мне благосклонна и ложиться со мной всякий раз, как мне этого захочется, — так, что ли, я должен был поступать, чтобы не «осквернить» нашу любовь? Я изворачивался как мог (признаюсь,

не очень ловко), врал до тошноты. И разумеется, проиграл. Ну, а если бы я был «правдив», разве результат был бы иным? Она хочет, чтобы я себя проанализировал, заглянул вглубь. Чтобы познал самое дно своей души, без мистификации, без самообмана. Если мне это удастся, говорит она, я смогу писать, как раньше. Но, черт побери, я не собираюсь ничего утаивать от себя. И что из этого? Бывают дни, когда я испытываю подъем, а бывают такие, что хоть в петлю. Ни в том, ни в другом случае я не могу работать. Мне не подходят ни эйфория, ни депрессия, мне нужно чувствовать себя нормально. Простым ремесленником. Вот тогда я выдаю одну картину за другой. Я потерял вдохновение, Марина, — вот в чем дело. Я потерял вдохновение. Осталась одна техника. И куча покупателей, все берут, кто там говорит о кризисе? Но это уже другое, я знаю. Ты тоже знаешь и презираешь меня. Я уступил по всем пунктам, принял все условия. И стал богатым. И вот здесь я хотел бы остановиться, дело в том, что я теперь не нуждаюсь в твоём скупердяе-папаше, раньше нуждался, а теперь нет, пусть они трясут своей мощной, я потрясу своей. «Кто хочет жениться на таракашке, у которой есть деньжата?» — любила напевать моя мать тонким голоском, как подобает таракашке, которая нашла монетку в трещине пола. Моя мать — вот была правда. Ты хочешь правду, одну только правду, ничего, кроме правды? Так это была моя мать, в своем платье с ласточками на темно-синем фоне. Правда также то, что у нее было слабое здоровье и она умерла рано. Мой отец? Преподаватель? О нет, душа моя, он не был преподавателем, как и не был застрелен по политическим мотивам. Он был просто полицейским и пытал заключенных, и пока он возился с уголовниками, все шло нормально, но потом он связался с политическими и переусердствовал, вытягивая у них щипцами признания вместе с зубами. Кончил он тем, что однажды его схватили и попросту затоптали, труп удалось опознать только по кольцу с красным камнем, которое он носил на пальце. Он получил по заслугам, сказала моя сестра, девушка с волосами цвета меда, разделенными пробором

точно посередине, как у мадонн, про волосы я не врал, я врал про то, что она утонула, когда каталась на лодке, а лодка перевернулась, мне всегда казалась красивой такая смерть, как у Офелии,— волосы, запутавшиеся среди водорослей,— впрочем, это я так, к слову, Шекспир иногда помогает в жизненной текучке. Она утонула. Да, утонула. Но, так сказать, в грязи жизни. Сгинула в публичном доме на самой границе с Парагваем. Она сбежала с каратистом, и в один прекрасный день мне сообщили приглушенным шепотом (такие новости требуют почтительного к себе отношения), что мою сестру видели на границе в доме одной сводни, какой-то мулатки, то ли Альбины, то ли Мальвины, что-то в этом роде. Они с другой такой же девчонкой уже почти добежали до пограничного шоссе после поножовщины на очередном карнавале. Но моя мать — это ведь была правда, ее темно-синее платье, ее болезненность, моей матери довольно с тебя, Марина? Достаточно тебе моей матери? — думал я, тщетно пытаюсь согреться у камина,— в те дни в Кампос ду Жордас стояли холода, там часто бывает холодно, а холод стимулирует память. Я подсел к самому огню, так что лицо обдало жаром. Хотелось закричать: ну почему она не оставит меня в покое? Рюмка с коньяком нагрелась в моих руках. А точно ли мне хочется, чтобы меня оставили в покое?

— Мыло, пожалуйста,— говорит банщик и протягивает мне небольшой кусок зеленого мыла.— Вот ключ от шкафчика сеньора. Прошу за мной.

Мыло пахнет эвкалиптом. Я сую его вместе с ключом в шлепанец, который постепенно сползает со сложенного халата. Я поправляю шлепанцы, с кучей вещей в руках я похож на арестанта в первый день заключения, такими их, по крайней мере, показывают в кино. Знакомая музыка (кажется, она стала немного громче?) тоже из кинофильма, я ее узнаю, очень старая мелодия, мы слушали ее вместе, а, Роза? Помнишь? Я как раз работал над портретом, но уже вечерело, еще десять минут, и мы выходим, здесь, неподалеку, идет фильм, который мне хотелось бы посмот-

реть, пригласил я ее, она согласилась, но не пошевелилась — оперлась о подоконник, светло-зеленый взгляд устремлен на меня, порой я прятался от этого взгляда за газету, за книгу, за холст, впрочем, за холст я прятался всегда, но даже за этой непроницаемой стеной я чувствовал его на себе. Ее лицо начинало сливаться с листвой, быстро темнело. Я схватил тюбик с зеленой краской и выдавил его до конца, я хотел, чтобы все на картине было цвета листвы: окно, платье Розы, я задышался от радости, избыточной, как и краска, достигавшая цвета зрелости лишь в апельсине, который Роза держала с величайшей серьезностью, я люблю тебя, Роза, слышишь? Я люблю тебя! — кричал я, потому что портрет явно получался, еще до всех своих будущих портретов я знал, что этот самый лучший. Я начал смеяться. Она держала апельсин с серьезностью маленького Иисуса в атласном плаще и позолоченной короне, в правой руке у него скипетр, а в левой — земной шар, усеянный звездами, моя мать повесила такую картинку над моей кроватью; смотри молись каждый вечер, чтобы Он не отвлекся случайно и не уронил шар!

— Вы не знаете, как называется эта мелодия? — спрашиваю я банщика.

Он лезет под стул, вылавливая там мыло, которое так сползло с моей горы. Заодно упал и ключ.

— Не думаю, чтобы это было из какого-нибудь старого фильма. Старая музыка, она другого сорта, сеньор не находит?

Я прячу мыло в карман. Моя ненависть к словам типа «другого сорта» становится почти физической. Мода на слова. Мода на людей. Выжатые как лимон, они уступают место другим словам и другим людям. Я сейчас тоже в моде. Или уже был в моде.

Металлическая внутренность шкафа незаметно переходит в зеркало на задней стенке. Комфорт и порядок для клиентов, чьи дела в порядке, думаю я и едва успеваю увернуться от надутого человечка, следующего мимо меня с торжественностью маленького цезаря, в белом халате и с перекинутым

через руку наподобие туники полотенцем. Я отыскиваю номер моего шкафа. Мелодия звучит громко и явственно, можно даже подсвистывать. И ведь до сих пор популярны и лента, и музыка, love story* тех времен. Роза обливалась слезами, когда бомба упала прямо на военного корреспондента, влюбленного в медсестру. Чушь все это, прошептал я, и Роза стиснула мне руку, чтобы я помолчал, потому что на экране был самый трогательный момент — девушка шла к тому месту, где они обычно встречались, и ее лицо выражало возвышенные чувства, а перед глазами вставал образ любимого, и возвышенная музыка неслась с экрана, потому что это любовь, понимаешь, настоящая любовь!.. Роза-Плакса, сказал я, когда мы вышли из кино, протянул ей платок и подал руку, так как она уже чувствовала себя медсестрой, готовой потерять меня вновь. Тогда она повела меня в вегетарианский ресторан — она была вегетарианкой. Извини меня, но это не еда, запротестовал я, и Роза улыбнулась и заказала салат. Роза-Сыроежка. Она жарила мне бифштексы, почти не глядя на мясо, ибо перед ее глазами тотчас же вставал бык, надвигающийся на матадора. Обычно малоразговорчивая, она могла в мельчайших подробностях описывать вылезавшие из орбит глаза быка, почуявшего кровь. Как он упирается в землю всеми четырьмя копытами, пока наконец не сдастся и не дает увести себя, свесив голову. И я видел быков, следующих друг за другом по узкому коридору бойни, и что из этого? — спросил я. И широко раскрытые в панике глаза я видел тоже. Те глаза. Я хотел забыть их, но сейчас вспомнил, это дядя Розы, тот немой. Он смотрел на меня так в то утро, когда его отправляли в богадельню.

— Жарко здесь, — сказал я и расстегнул рубашку.

Банщик улыбнулся мне своей медовой улыбкой и подал вешалку для костюма.

— Это мы еще не в самой сауне.

Он работал тогда в саду, этот немой. Когда Роза подошла, он выпрямился, стоя на коленях, и показал ей мертвый

* история любви (англ.).

корень, который только что выкопал. Она опустилась рядом, провела рукой по редким волосам, выбрала комочки сухой земли из седой бороды и переплела руки между коленями. Она была бледна, когда начала говорить, что ему надо уйти в дом престарелых, там очень хорошо, есть цветы, деревья. Тебе понравится, дядя. Он выслушал и кивнул головой. Да, кивнул головой в знак согласия. Я смотрел из окна, и мне до смерти хотелось куда-нибудь уйти, сбежать от этой сцены, где сентиментальная племянница объясняет старому дяде, что наш дом не место для немых стариков, помешавшихся на растениях. Я остался. Они сидели молча и неподвижно, глядя в землю. Потом он сомкнул пальцы вокруг мертвого корня, который все еще держал в руках, и пальцы и корень стали неотличимы друг от друга. У него были черные ногти, как земля. У Розы ногти обычно бывали чистейшими, но и под ними иногда проглядывали черные полоски после всех ее экспериментов. Слабые ногти. Слабые зубы. И ты позволил ей лечиться у приятеля, который даже не прошел соответствующего курса! — удивилась Марина. Но теперь я уже не знаю, точно ли это она меня спрашивает или я сам задаю себе вопросы, которых так много, что они мешаются с ее. Марина, мой судия. Я отвечаю тебе: да, Роза была тонка, как черенок растения, имя которого я уже забыл, у нас было несколько полок с горшками, в которых подрагивали и тянулись в прохладную тень его нервные листочки. Они растут лучше, когда за ними ухаживает монахиня, говорила мне Роза, и теперь я вспомнил, как оно называлось: авенка. Почему же именно монахиня? — заинтересовалась Марина (ее интерес к Розе бесконечен). Откуда я знаю? Монашки обычно девственницы, а девственницы обладают особой властью, растения чувствуют, когда их касаются руки, не знавшие мужчин, и, благодарные, расцветают пышным цветом, окруженные целомудрием. Роза-Монашка, у нее в доме не было фигурок святых, ее святыми были ее растения: пучок фиалок — Святая Тереза, тонкий эвкалипт — Святой Франциск Ассизский, ипé — еще какой-то святой. Все это освящалось особым ритуа-

лом, окружалось аурой, она видела ауру, исходящую от растений, сверкающую, если они были здоровы. Тусклую, если болели или умирали, совсем как у людей. Только наиболее продвинутые животные и некоторые люди (ясновидящие) видят ауру, Роза считала, что ее дядя был ясновидящим. Этот дядя был слегка помешан или просто стар? — прервала меня Марина. Я почел за лучшее не сопротивляться. Это мое стремление сохранить душевный покой становится угрожающим, все вокруг начинают считать, что я, само собой, согласен с их мнением. Нет, только стар, ответил я. Я ему не нравился, мне даже показалось, что он хочет меня убить, и я решил, что лучшее средство избавиться от него — это богадельня. Самое занятное, что, когда я не спорю, Марина тут же теряет интерес и переходит к другой теме, теперь она хочет знать об авенках: не начали ли они хиреть, когда появился я? Роза ведь была девственница? Кстати, это потрясло ее больше всего: девушка двадцати с лишним лет, независимая, образованная и... девственница. Пришлось ей напомнить, что в то время среди бедных девушек было принято себя беречь, богатые девицы могли позволить себе завести дружка, а потом спокойно выходили замуж, но ведь Роза-Синий Чулок была из мелкой буржуазии. Да к тому же из растительного царства, а девственницы, приверженные этому царству, превосходят всех прочих девственниц; в первый раз, Марина, все было так трудно, так тяжело, что мне пришлось на рассвете вылететь из дома в поисках ближайшей аптеки. Все были, естественно, закрыты. Целый час я как сумасшедший гонял по улицам, холод был собачий. Когда я вернулся, Роза спокойно пила очередное варево из своих травок и предложила мне чашечку. Закованная Роза, крикнул я, и она засмеялась, а потом заплакала, так как я не смог сдержать раздражения. Бедняжка, проговорила Марина, и я вдруг подумал: почему она никогда не пожалует меня? Моя мать всегда жалела меня, а не Розу, всегда ее голова склонялась в мою сторону. Но Марина не моя мать и вообще ничья не мать, у нас нет детей. Может быть, поэтому она так непробиваема? Но у нее есть подруги с деть-

ми, они такие же — агрессивные, ироничные. Кто знает, может, это их дурацкое движение доводит женщин до полного кретинизма. Они не хотят самцов и сами становятся на них похожими. О боже, где они, нежные гейши? Банщик сказал, в Токио. Нет, ну разве не мы всегда были вашей опорой? Ведь поступить на службу — это все равно что пойти на улицу, неужели не ясно? Это значит получить инфаркт, научиться ругаться, этого вам надо? Муж, семья, ребенок — все к черту. Теперь самое главное — «сестра». Раньше прислуга могла хоть керосин пить — Марина не отменит визита к парикмахеру. Она умирает, Марина! И Марина пошлет шофера отвезти цветы на похороны. Теперь все не так, все переменялось, теперь она беспокоится, она чувствует ответственность, она спрашивает себя, как это могло случиться. Однажды раздобыла маленькую шлюшку, которой до смерти нравится быть шлюхой, когда я увидел эту «воспитанницу», я понял: чистое надувательство. Но ячейка решила, что они должны ее исправить, перевоспитать, она, видите ли, жертва системы, еще одно ходовое словечко — «система». Нашли манекенщицу, которая обожает выставляться голой, если завтра на ней женится соевый король, она и тогда будет выставляться голой, просто потому что ей нравится показывать свой зад. Ее право, в чем дело? Так нет, они строят постные рожи и принимаются говорить о женщине-вещи, подвергаемой эксплуатации. Вот чего я не могу понять. Женщина-вещь. Ну а если она родилась, чтобы быть вещью? И если это полезная вещь, разве она не исполняет своего назначения? Взять хотя бы мою кузину, смешно до слез. Богатая фермерша, она была несчастлива с мужем, ну и что? Они прекрасно терпели друг друга. Потом начались все эти движения, они разошлись, и теперь ей совсем плохо, потому что раньше она была несчастлива и богата, а теперь несчастлива и бедна. Она должна найти в себе силы и обрести душевное равновесие, говорит Марина с такой несокрушимой уверенностью, что просто приятно слушать. Она верит во всех, кроме меня. Первая встречная поплачется ей в жилетку,

и она уже готова, растаяла. Она полна сочувствия к Розе, даже к Розе, никакого намека на ревность, отнюдь, только симпатия, восхищение и уж не знаю что еще. Да, та безумная ночь. Я чувствовал себя обессиленным в этом поединке. Вместо нежности лишь сопротивление и вызов. Мой стыд в аптеке, вся эта ерунда, которую мне пришлось купить в три часа утра — зубная щетка, тальк, мыло, — лишь бы аптекарь ничего не заподозрил. Ах да, чуть не забыл: у вас есть очищенный вазелин? Он только улыбнулся. Марина тоже улыбается, но ее улыбка довольно натянута — она уже не находит все это таким забавным.

Я прячу одежду в шкаф. Надеваю шлепанцы. Прежде чем надеть халат, рассматриваю себя в зеркале. Еще держу форму, черт побери. Зря я, что ли, гоняю в гольф? А мой теннис? Может, вот только немного желудок выпирает. Я захватываю двумя пальцами складку на животе, вот они, излишки. Я втягиваю живот и поворачиваюсь в профиль, так что даже вижу краем глаза свой двойной подбородок.

Роза походила на мою мать. Мы с ней почти ровесники, но в ее любви я чувствовал себя как куколка в коконе, сказал я тогда Марине. На улице шел снег, мы вошли с ней в кафе (на Place Saint André des Arts*, кажется?). До последнего дня Роза бегала по моим делам в своем черном пальто и со своим токсикозом, ее уже начинало тошнить. Только не говори мне, что она ждет тебя и что на следующей неделе ты вылетаешь в Бразилию, прервала меня Марина, и мы перевели разговор на другую тему, в кафе было так уютно, так тепло. Мы выпили вино одним глотком, глю-глю-глю, терли заковеневшие пальцы и вдыхали жаркий аромат сандвичей, как здесь хорошо! Как хорошо, что ты свободен, сказала Марина, и никогда еще Роза не была так далеко, как в тот миг, да, мы прожили несколько лет, но когда я уезжал, практически все уже было кончено. Марина попросила еще вина. Потом еще сандвичей. Какая удача, наконец-то я встретила свободного мужчину! Ее последней любовью был один швейцарец — две семьи, две

* на площади Святого Андрея, покровителя искусств (франц.).

родины. И вдруг художник — и свободен! На следующий день она задала один или два вопроса о Розе, так, случайных, ничего не значащих. Тогда они мне показались случайными, я еще не был знаком с ее приемами. Или она их тогда еще не довела до совершенства, теперь, скользя по поверхности, казалось бы, вовсе не собираясь углубляться, она копает до дна. Ей не нравится, как я защищаюсь, что ж, я не должен защищаться? Я не умею быть беспристрастным, говорит она, но можно ли рассказать что-то беспристрастно? Факты всегда надо немного приукрасить, чтобы они не выглядели слишком незначительными. И жестокими. Это все равно что, описывая преступление, я скажу лишь, что женщина прицелилась и выстрелила в сердце любовнику, ни словом не обмолвясь при этом о всей сложности ситуации, о целом лабиринте обстоятельств, приведших к роковому исходу. Ладно, я постараюсь идти напрямик, да, когда я познакомился с Розой, она была невестой моего друга и соседа по комнате, я жил тогда в одном пансионе. Этот парень был для меня истинным провидением, если бы не он, я вернулся бы в Гойяс, да-да, в Старый Гойяс, что, далековато? Будь здоров. Так вот, он платил за меня в пансионе и снабжал меня сигаретами. Однажды ему надо было съездить в Ресифе (у него там умер отец), и он попросил меня пойти предупредить его невесту, которая ждала его к ужину. А телефона у нее не было. Я пошел, съел его ужин, а заодно и его невесту — вот как это было, говоря «беспристрастно». Если продолжать в том же духе, история с дядей будет выглядеть просто тошнотворной. Этот немой дядя ухаживал за садом — дом стоял посреди большого сада — и жил в сарае, этот сарай я и приспособил под свою мастерскую. Однажды он мне приснился, этот странный немой, умевший разговаривать с растениями. Иногда он даже смеялся, если они говорили что-нибудь смешное, тихонько, правда, но смеялся. Они отлично понимают друг друга, сказала мне Роза: когда он касается их, они ему отвечают через пальцы, он слышит даже корни, ты заметил, что цветы распускаются быстрее, когда дядя

рядом? И умирают без страданий, когда он берет в руки венчик? Бессмысленно было объяснять ей, что дядино безумие росло и крепло, как и корни растений во мраке. Мне тогда пришлось несколько преувеличить, слегка накалить обстановку, чтобы доказать ей, что в один прекрасный день дядя может стать опасным. Как, например, в то утро, когда он смотрел на меня, держа в руках железный прут от изгороди, я был вынужден искать убежище. Тебя не было, мы были вдвоем. Я закрылся в сарае и ждал, когда он отойдет. Пришлось сидеть там и работать, пока ты не вернулась, хотя ничего конкретно не произошло, но знаешь, я почувствовал угрозу. Опасность. Она протестующе замотала головой, она всегда отрицала это. Дядя и опасность? Ее дядя?! Старик, такой же безобидный, как его цветы, какая угроза может исходить от куста роз? Может быть, ты его напугал, это другое дело, это возможно, он испугался, почувствовал себя неуверенно и укрылся среди своих цветов. Но там тоже есть цветы, дорогая, отозвался я. Там, в приюте для престарелых. Я уже обо всем договорился, он будет счастлив, живя рядом с другими стариками. Ведь старику необходимо видеть вокруг себя таких же старых, как он. Месяц спустя я отвозил его. Он шел не сопротивляясь. Когда надо было садиться в такси, он посмотрел на меня долгим взглядом. Я взял его за руку и мягко, но настойчиво подтолкнул внутрь, я ждал, что старик ответит, попытается высвободиться. Но он сел на сиденье и застыл, глядя неподвижно перед собой, сжав руки между колен, он обычно делал так, чтобы согреть их. Роза плакала, запершись в ванной, она уже не первый раз закрывалась там, чтобы поесть припрятанных сладостей или поплакать, в то время она уже начинала толстеть. Когда я вернулся, она еще сидела там. Я стукнул в дверь: не будь ребенком, Роза, он вполне счастлив, идем, выпьем вина, создадим положительную ауру, не ты ли говорила, что наша аура зависит от нас самих? Я сам готовил сэндвичи и говорил без умолку: после переделки сарай будет что надо, мы его распишем, в углу поставим койку, чтобы я мог работать

допоздна и спать сколько влезет, в сентябре, может, удастся выставиться, сентябрь, весна, пора надежд, мы тогда закатим пир в мастерской, а потом можно будет подумать и о поездке по Амазонке, смотри, сколько планов, Роза. Да еще эта стажировка в Европе, которой я обязательно добьюсь! Она слушала молча. Молча пила вино, глаза были опухшими от слез. Я кинулся искать ее шоколадки и карамельки, на, ешь сколько хочешь, Роза-Сладкоежка, Безумная Роза! На следующий день я проснулся поздно. Со стола так и не было убрано. Розы не было видно. Я пошел в сад. Она стояла на коленях перед кустом бегоний и утешала их. Хватит, Роза, позвал я, идем, мне нужно, чтобы ты сделала раму для картины. Она вытерла о фартук испачканные землей руки.

Я завязываю пояс халата. Теплая, пушистая ткань хранит в складках аромат эвкалипта. Сверкающее, прозрачное стекло бутылок. Прозрачный ликер. Ее радость, когда она рассказывала мне о своем открытии,— зеленый ликер с легким привкусом мяты, она принесла мне рюмку, попробуй! Легкий запах возбуждал еще до того, как тепло, разлившись во рту, заполняло грудь, опускалось до самого низа, но это же напиток любви, сказал я. С этим рецептом мы разбогатеем, ликер для монахов! Она засмеялась, и я увидел, как заиграл в ее глазах зеленый огонь ликера.

— Я много слышал о сеньоре, но никогда не видел его картин, только так, в журналах. У сеньора будет выставка?

Я следую за белым фартуком. Хотя ступни у него и огромные, ступает он мягко.

— Только в Вашингтоне.

Она не разбогатела ни с этим рецептом, ни с каким другим, ни малейшей практической хватки, вокруг нее люди делали деньги, добивались известности. Она нет. В конце концов она даже уступила рецепт одеколону одной итальянке, которая дала ему новое название («Петрониус», кажется?) и пустила в широкую продажу. Почему, Роза? Почему ты сделала это? — спрашивал я, едва сдерживаясь, чтобы не тряхнуть ее как следует, эту Розу-Толстуху, она уже

почти стала ею. Она приклеивала к невзрачным флакончикам маленькие ярлычки с прежним названием, написанным зелеными буквами: «Розана». В память о матери, которая преподавала ботанику и познакомилась со своим будущим мужем в Институте исследования растений, редкое семейство — все натуралисты. Я рассказывал Марине (чего я ей только не рассказывал!), что мать Розы пережила свою смерть, потому что Роза поила ее чаем из листьев ипé; когда смерть пришла за ней, то по дороге ей попался немой дядя, который охранял дерево ипé, и дерево защитило больную. Так что, похоже, немой дядя перекинулся со смертью парой слов, та повернула на сто восемьдесят градусов и вернулась лишь десять лет спустя. Разговорчивый немой, заметил я, но Марина не улыбнулась, она была слишком погружена в вышивание своего коврика, она тогда увлекалась этими безделицами, что занимают руки и оставляют свободными мозги. Я вижу, что иголка не точно следует рисунку: то отступит назад и мелькает среди орнамента, то снова появится среди цветков сирени, на самом краю полотна, интересно, это из-за цвета? Теперь она хочет знать в подробностях, что произошло в ту ночь, когда я пришел с поручением от моего друга, а на столе для него был приготовлен ужин. И она ждала. Ты пришел, и что дальше? А дальше я остался, как я мог не остаться? На улице лил дождь, возвращаться было далеко, я был весь мокрый, хоть выжимай. Она не могла отпустить меня в промокшей одежде, дала что-то из дядиных вещей, пока сушила утюгом мои брюки. Дождь не прекращался, у меня поднялась температура, кончилось тем, что я заснул на подушках, которые она набросала посреди гостиной. Перед сном она заставила меня выпить горячий чай из листьев апельсина. Моему другу пришлось задержаться в Ресифе, у него там были младшие братья, надо было разобраться с имуществом, привести в порядок дела. Таким образом, я начал ходить к ней каждый день. И она никогда не заговаривала о женитьбе? — спросила Марина исключительно по привычке — она отлично знает, что я даже и не думал же-

ниться. Но ты же женился на мне, возразила она, и на ее лице появилось хорошо знакомое мне выражение. Не дожидаясь ответа, она снова втыкает иголку, но и я не медлю: ну, с тобой было все по-другому, дорогая. Единственная дочь богатого папаши, скряги правда, который шагу лишнего даром не сделает, это, между прочим, интересная подробность, ну и прибавь сюда надежды на наследство. Марина улыбнулась, разглаживая на коленях коврик.

Никогда, никогда не терял я этой надежды. Мы уже почти старики, но зато ты посмотри, как он еще бодр, и не собирается умирать, и не нужен ему никакой чай из ипé, он слышал когда-нибудь об ипé, Марина? — спрашиваю я и вижу, что иголка как будто смеется надо мной, следуя своей извилистой дорожкой туда, где я ее уже не вижу. О боже, Марина, ну почему мы говорим обо всей этой ерунде, которая начинается так невинно, а потом сползает неизвестно куда? Ты начинаешь. Я вынужден отвечать в том же тоне. Представь себе, что я хочу все забыть. А ты мне не даешь. Почему ты не даешь мне все забыть? Чего ты добиваешься? Она сложила коврик. Убрала нитки. Может быть, из-за дыма (она курила сигарету), но мне показалось, что у нее на глазах заблестели слезы. Я думаю, ты не любил никогда и никого, кроме себя, сказала она, прижав к глазам ладони. Я любил тебя, хотел я сказать и не решился. Она знает, что, если бы она была просто одной из многих искательниц приключений, встреченных мной в Париже, вряд ли я повел бы ее в посольство, чтобы оформить брак. Она одевалась тогда как бедная студенточка, потому что быть бедной было интересно, но я-то знал, что у папаши куча текстильных фабрик, о его скупости я узнал много позже. Я любил Розу, мог бы я сказать. Но Марина отлично понимает, что, если бы Роза сделала бизнес на своих рецептах, если бы она была из тех женщин, которых обычно ведут под руку, слегка впереди, как трофей, я не уехал бы в Париж один. Значит, я никогда и никого не любил, кроме себя? Ну а если я и

себя не люблю? Знаешь ли ты, что я бегу от самого себя, а? Знаешь или нет?

Я промокаю халатом грудь — по ней ручьем течет пот. Банщик подает знак, и я встаю на весы — взвешиваться так взвешиваться. Я узнаю, что три килограмма у меня лишних, часть из них сеньор ликвидирует в ближайшие полчаса, на что я отвечаю, что уже начал их ликвидировать, потому что здесь жарко, как в сауне. Он записывает в карточку мой вес. Весы, которые Роза купила, чтобы контролировать вес, ни черта не контролировали, как можно было ей запретить запираяться в ванной и грызть свои шоколадки и бисквиты? Роза! — звал я, а она запускала душ или кран, но продолжала сидеть и жевать. Лучше сразу поставить все точки над «и»: мы уже давным-давно не жили, эта ее беременность вышла по пьянке, чистое безумие. Она была уже немыслимо толста, когда это случилось совершенно неожиданно. И так не вовремя, что я не выдержал и сказал: ситуация не самая идеальная, Роза, я не переношу этого слова «идеальный», но это было единственное, что мне пришло в голову. Тогда она надела свое черное пальто и вышла из дома, она всегда надевала это пальто, которое я видеть не мог, — думала, что оно скрывает ее полноту. Ни черта оно не скрывало, о господи, Марина, неужели я еще должен продолжать? Это было в день моего вернисажа. Роза приготовила мне ланч, поев, я сидел, потягивая виски, — было еще рано. За стеной Роза сколачивала рамки, она любила работать по вечерам, под музыку, жуя свои бисквиты. Когда я допил последний глоток и крикнул, что я пошел, она вдруг появилась передо мной в этом своем дурацком пальто. И с черной сумкой: я иду с тобой. У меня язык прилип к нёбу. Уже многие месяцы мы никуда не выходили вместе, у меня были свои дела, свои друзья, никто никогда не интересовался Розой, она была, само собой, исключена из этого круга. И ее это не трогало, она продолжала толстеть и понимала, что трудно найти платье, которое ей было бы к лицу. Она вообще была в одежде неразборчива, я даже подозревал, что это

специально, чтобы выглядеть некрасивой. Она знала, что у тебя есть любовница? — спросила Марина. Я пристально посмотрел на нее: а кто сказал, что у меня была любовница? Она не отвела взгляда. И вдруг взорвалась: так была у тебя любовница или нет? И она не подозревала об этом? Да, подозревала, отозвался я наконец и начал ждать детальных расспросов. Но их не последовало. Так вот, она стояла передо мной в черном пальто и с черной сумкой. Готовая идти. Идиотская мысль пришла мне в тот момент в голову: как будет лучше — расстегнуть пальто или застегнуть? Я почувствовал себя виноватым: зачем я позволил ей так растолстеть? И этот жуткий балахон. Я обнял ее. Завтра же надо будет дать ей денег на новое пальто, я снова хочу видеть тебя элегантной, Роза, выкинем к дьяволу это тряпье, эту сумку, а? Она сжимала ручку сумки, как когда-то (когда это было?) сжимала апельсин. Я взглянул на портрет, потом на нее — отовсюду смотрел на меня прозрачный светло-зеленый взгляд. Роза, дорогая моя, сказал я, это так хорошо, что ты хочешь идти со мной, ведь всем, что я имею, я обязан тебе, ты помнишь об этом? Я не хочу больше видеть Розу-Затворницу, все хотят с тобой познакомиться, а потом мы отметим это — закатим ужин на всю ночь, даже если не удастся продать ни одной картины. Загуляем! Но ты совсем закоченела, сперва надо согреться, глотни немного виски. Я открыл банку с орешками, она любила их, еще рано, лучше прийти, когда все уже соберутся. Ну что ты так сжалась, сними пальто, иди сюда. Мы сели прямо на ковер, выпили виски из одного стакана, и когда она засмеялась, я поцеловал ее. Язык ощутил вкус ванили, ты ела пудинг, признайся! Она отрицательно замотала головой и засмеялась, уже давно я не видел ее смеющейся, я был счастлив, Роза-Хохотушка, совсем как раньше. Я снял с нее туфли. Когда я расстегнул блузку, сосок на одной груди сжался и закрылся, как листок мимозы от ночной прохлады, она была необыкновенно восприимчива! Мимоза моего детства. Я поцеловал второй сосок, и он тоже закрылся, Роза-Соня! Ее глаза потемнели.

Она отдалась без сопротивления. Никогда еще не проникал я в нее так глубоко, никогда наслаждение не было таким полным, острым до боли. Как будто знал (Марина слушала, побледнев), что это в последний раз. Я накрыл ее пальто и оставил спящей. Или притворившейся спящей. Я выбежал на улицу. Я мог бы еще успеть, если бы поймал такси. Я шел, очумевший от звезд, от луны, горящей в темной глубине, и думал о матери, о ее платье цвета ночи. Ты меня видишь, ма? — закричал я и вдруг понял, что после смерти она слилась с тем звездным шаром, что держит в руках младенец Иисус, и теперь ей не надо бояться, что шар упадет, потому что теперь она стала его частью; ты здесь, ма? — крикнул я и почувствовал, как стучит в висках моя темная, как эта ночь, кровь. Свободен. Когда я пришел, я был пьян, но мозги работали четко. Выставка бурлила, уже в дверях мне в лицо ударило ее горячее дыхание. Я вошел, и в моих глазах полыхал зеленый огонь, слава, она зеленого цвета, Марина. Зеленого.

— Если сеньору что-нибудь понадобится, вот здесь звонок, — сказал банщик и открыл стеклянную матовую дверь.

Я задохнулся от пара и зажмурил глаза — на них сразу же выступили слезы, на лицо будто положили влажную подушку.

— Слишком сильно для сеньора?

Подушка начала постепенно пропадать, рассеиваться. Выступил пот. Я вдохнул запах эвкалипта, который горячими волнами шел от пола, от потолка. Открыл глаза и попытался восстановить дыхание, сбитое кашлем.

— Подождите немного... Я буду входить постепенно. Теперь хорошо, да, вот так хорошо.

Сквозь густой туман я различаю деревянные скамьи, светлыми пятнами расположившиеся амфитеатром по кругу. В первом ряду, совершенно голый, сидит тот человек, что продефилировал мимо меня в раздевалке, блестящий от пота и поникший. Он рассматривает свой спускающийся складками живот, последняя складка почти лежит на коленях. Я стараюсь сесть подальше, чтобы

толстяк не завел беседу. Но ему, кажется, тоже не до разговоров — вся энергия здесь уходит в пот. Мы сидим неподвижно, разделенные как острова, как несообщающиеся сосуды, пот бежит ручьями, образует лужицы на скамейках, на полу. Нет, почему ты так сказала, Марина? Что я никого никогда не любил. И тебя тоже? Даже вначале? Это желание, эта жажда почувствовать тяжесть твоего тела и дать тебе ощутить тяжесть моего. Эти гордость, волна удовлетворения, которые заполняли меня, когда я входил с тобой в любую гостиную, не из-за красоты, нет, ты не была красива. Но элегантность. Порода. Я вводил тебя под руку — она моя. Моя. Ты страдала от моих увлечений, тот случай с Карлой, мы ведь чуть не разошлись тогда, ты хочешь сказать, что и Карлу я не любил? И Розу тоже? На мне ее кровь, а ты говоришь, что я не любил ее.

— Я бы сейчас литра три воды выпил. Запросто. Литр за литром,— бормочет толстяк, подняв голову и глядя в потолок. У него глаза рыбы, тоскующей о море.

По его гладким ногам стекает вода, как горячий воск по свече, пропитывает полы халата и исчезает в трещинах пола. Неправда, что я стыдился ее, так тонко чувствующей, такой восприимчивой. Такой душевно богатой по сравнению со всем этим блестящим бабьем, которое меня окружало, пытался я объяснить Марине, нет, я не стыдился повести ее на выставку. Или все же стыдился? Мне нравилось видеть ее дома: узел волос на затылке, фартук для опытов. Роза — Частная Собственность. Мне всегда казалось, что я пытался сделать ее не такой неловкой, не такой провинциальной. Сейчас я думаю: а действительно ли так уж пытался? Или меня вполне устраивало это ее домоседство, особенно когда она начала толстеть? Не знаю, почему она так растолстела, я предупреждал. Шоколад, бисквиты, она жевала их целыми днями. Я могу показаться расчетливым. Но человек не бывает только расчетливым. Только корыстным. Я распахиваю халат. Капли пота сливаются в ручейки на моей груди и стекают вниз, прокладывают дорожки между волосками на животе. Так ты, Марина,

говоришь, я не любил? Откуда ты знаешь? Просто, я думаю, дело в том, что я никогда не отдавался этому целиком, всегда оставалась какая-то часть меня, бóльшая или меньшая, которая наблюдала за другой со стороны. Вот что касается всех этих разговоров насчет любви к ближнему как к самому себе, тут я точно никого не любил. Чушь это все собачья, фантазия. Я всегда получал больше, чем давал, честно признаю. Я провожу языком по губам: эвкалипт и соль. Я любил свою работу, я работал с настоящей любовью, помнишь? Если бы у нас были дети, Марина! Но у тебя не могло быть детей, надеюсь, что хоть в этом-то ты не станешь меня обвинять. Итак, мы одни. Без желания. Без огня, то есть это у меня нет огня, ты-то полна горения со своими «сестрами», со своей газетой. Эмансипация. Освобождение. Кончится тем, что ты освободишься и от меня. Знаешь, я мечтал, как мы вместе состаримся, кончилась страсть, прошли измены, осталась только эта спокойная нежность. Без обид. Без боли. Рядом дети. Я всегда считал скотством, когда взрослые дети, пережившие, показывают вам спину и начинают подыскивать (о, весьма тактично) приют для престарелых, где вы могли бы мирно завершить свою старость. Стервецы. Так я когда-то поступил с немой дядей. Сейчас мне их не хватает, этих детей, которых у нас нет. Я мог бы иметь их от Розы. Но тогда эта мысль повергла меня в ужас, скорее, Роза, срочно аборт, срочно! Ты угадала, Марина, она сопротивлялась, она хотела иметь нашего ребенка. Потом та же история с Карлой: ты с ума сошла, Карла! Мать-одиночка, ты этого хочешь? Она хотела именно этого. Но, Карла, я не собираюсь разводиться с Мариной, конечно, если ты думаешь таким образом взять меня за горло... Она попросила виски, мы сидели в баре. Да нет, успокойся, ответила она. Этого мне не надо. Но, пожалуй, мне уже не нужен и ребенок, который однажды посмотрит на меня, как смотришь сейчас ты... Карла. Она была смелой женщиной. Ей надо было бы участвовать в этом вашем движении. Я промокаю грудь — по ней струится пот го-

рячими, щекочущими струйками. Опускаю руки, и новые капли образуются на месте прежних. Сбрасываю халат. Обжигающий пар обрушивается на меня из всех четырех углов сауны, как из четырех пастей дракона. В сказках моей матери всегда был дракон. В конце злые люди бывали наказаны, и наказание огнем было обязательно. Я закрываю глаза и вижу мою мать в платье темно-синего цвета. А мою мать? Мою мать я тоже не любил? Слезы льются у меня по щекам, мешаются с потом, текут в рот, я плачу, как не плакал никогда, и хочу плакать еще, хочу изойти потом, чтобы все оставить в этой проклятой сауне, ну, а мою мать, Марина?..

— Время сеньора кончилось, — объявляет банщик, открывая дверь. Он подходит к толстяку, кашляя и отстраняясь от пара. — Впрочем, если сеньор хочет, он может остаться еще на несколько минут.

Человек тяжело встает. Поднимает сползший халат, с трудом надевает его и идет к выходу, согнувшись и волоча босые ноги, о шлепанцах он забыл.

— Хватит на сегодня.

Сквозь приоткрытую дверь входит струя холодного воздуха. И музыка. Я сжимаюсь, упираюсь локтями в колени, закрываю лицо ладонями. Теперь банщик идет ко мне. Не открывая лица, отвечаю, что все в порядке. Он благодарит и сообщает, что придет за мной, когда кончится мое время. И закрывает дверь. Я отнимаю руки. Слезы текут еще сильнее, сливаясь со струйками пота. Я смотрю в одну точку перед собой, Марина говорит, что так надо, а Марина знает, надо найти точку перед глазами (я отыскиваю кнопку звонка) и в тишине, в сосредоточенности, без лжи и притворства сбрасывать с себя слой за слоем все ложное и пустое, отбросить все неистинное. Ты думаешь, я способен произвести такой отбор? Это я-то? Все так перемешалось, Марина. Ты требуешь правды, как в инквизиции, ты, надо думать, в другой жизни была великим инквизитором в коричневом капюшоне. А я был фальшивомонетчиком, сожженным на костре, ты сама помогала его разжигать.

А потом, много веков спустя, мы встретились в Париже, и вот теперь я сижу здесь, исхожу жидкостью, уставившись в одну точку, и жду, когда вытечет моя последняя слеза. Остаться наедине с самим собой, советуешь ты. Но я, видишь ли, не самая приятная компания, стоит мне остаться одному, как из глубины начинает подниматься тревожная волна, миазмы воспоминаний, я не различаю лиц, не разбираю слов, только липкий мрак заполняет пустоту, проникает в щели. Из тела уходит воздух, и я кувыркаюсь в пространстве, и мне не за что зацепиться. Клюв. Сверху появляется птица и берет меня в свой клюв, а потом она исчезает, и я лечу один, совершенно беспомощный, я умираю, это ведь и есть смерть. Я смотрю на красную точку и не делаю ни малейшего движения, чего мне больше всего сейчас хочется — так это выйти отсюда, выпить виски, перекинуться парой слов с банщиком. Кофе? Могу кофе. Компания? Согласен на любую. Музыка, шлюха — сколько угодно. Лечь в постель с первой попавшейся шлюхой, принять первое же приглашение на ужин! Но я не шевелюсь. Если облегчение в действии, значит, я буду сидеть, подыхая от тоски и неподвижности, и ждать, когда сойдет с меня последний слой лжи. Наконец там, внутри, как в центре урагана, начинает зарождаться зона покоя. Тишины. Я вздыхаю: кажется, проходит. Проходит мертвая тоска агонии. Теперь надо привести в порядок дыхание, чтобы воздух продул закупоренную воронку, наполнять воздухом сердце пока страшновато; я прислушиваюсь к нему, моему сердечку, оно дрожит, как маленькая птичка, напуганное всем, что только что пронеслось через него. Я слегка поглаживаю его: спокойно, спокойно. И складываю руки на животе — жест моей матери. Правда, она смотрела не на руки, она смотрела в себя. Все было, конечно, не так, как я рассказывал, Марина, и ты знаешь, что не так. Ты хотела услышать правду, ну так слушай: она ждет меня к ужину, моя невеста, сказал он мне тогда. Мой друг. Пойди скажи ей, что у меня умер отец, но скажи осторожно, она очень ранима. Можешь ехать спокойно,

ответил я, я буду осторожен. Когда я прошел через сад, я уже знал, что останусь здесь. Да еще моя простуда, помнишь? Только бы она пожалела меня, бедного неизвестного художника, к тому же из Старого Гойяса — это, кстати, вызывает еще больше сочувствия, — только бы ее тронула моя бедность, моя бесприютность! Если бы она захотела стать моей маленькой мамой. Я не отказался от сухой одежды. Я выпил предложенный чай. Чайная Роза, сказал я, и мы засмеялись над всеми остальными розами, которые придут после. Притвориться легко, Марина, но я хочу повторить еще раз: это не было только притворством, ты любишь ясность, но человек не бывает только твердым или только бесформенным, он скорее походит на воск. Все на свете неоднозначно, даже у дракона есть своя правда, и теперь, отбросив цинизм, я спрашиваю себя: это действительно не было любовью? Не стало наконец любовью? Сразу никогда не поймешь. Потом, впрочем, тоже. В тот вечер моего вернисажа, да, я притворился, я не хотел, чтобы она шла со мной, я не хотел, чтобы увидели мою жену, толстуху в черном пальто. Но она начала толстеть, когда почувствовала себя покинутой. У меня нет выхода, говорил я себе и шел заниматься любовью на сторону, с другими женщинами, и даже не скрывал этого, она все знала. Знала. Когда наступил тот вечер и она сказала, я иду с тобой, я тут же подумал: напою ее, дам хорошую порцию, чтоб проспала до утра. Но когда все началось (я ведь говорил тебе), пришло желание. Она не была запланирована, эта до боли сладостная любовь, но там, за дверью, меня ждали выставка, звезды, и потому она тут же заснула, моя Великодушная Роза, сообщница в моем бегстве, я уверен, что она притворилась. Всегда к моим услугам, моя Отвергнутая Роза, она оставила свои опыты ради моих рам, у нее и в этом оказался талант. Мы не могли себе позволить иметь прислугу, Роза одна делала всю работу по дому и в саду. Эта радость, которая порой меня охватывала при одной только мысли, что она меня ждет, что бы ни случилось. Ее чистый взгляд, чистые руки. Зеленое

стекло флаконов и аромат. Ее зеленые бульоны и мой кровавый бифштекс, она переносила это спокойно. Тихая моя Роза, шептал я ей, если ты покинешь меня, я убью себя. И я не лгал, и потому теперь я спрашиваю себя: неужели это не было любовью, пусть по расчету, но любовью? Что, такой не бывает? Беременность оказалась полной неожиданностью. Портрета у нее тоже не осталось, я продал его, предложили хорошую цену, и я не отказался. Как раз накануне отъезда. Я сделаю другой, Роза, обещал я, уже стоя на трапе, я сделаю дюжину таких же! Нет, он не висит у нее в гостиной, как нет и самих гостей, пришедших перекинуться в покер, история с дантистом тоже сплошная выдумка, то есть я хочу сказать, что он лечил ей зубы однажды, но потом никогда больше не появлялся, да и Роза практически не выходила из дому. Заморозка, которой он пользовался, причинила ей тогда немало страданий, и она предпочла оставаться с испорченными зубами. Хороший дантист был у меня. Канун отъезда. Роза все время куда-то выходила, в этот день она должна была делать аборт. Кроме того, надо было посмотреть комнату в квартире одной знакомой, куда она собиралась переезжать. Я вернулся домой рано, пароход отходил ночью. Роза была в саду — стояла и смотрела на свои цветы. Она меня не заметила и так и продолжала стоять, бессильно опустив руки и раскрыв ладони — жест прощания. Она не могла увезти их с собой и прощалась со своим Святым Франциском, Святой Терезой; о Марина, как передать тебе мое желание крикнуть ей в эту минуту: все, Роза, никаких поездок, аборт, переездов, мы остаемся! Остаемся. И какой же ты стал сволочью, раз допустил все это, сказал я тогда самому себе и взял ее за руку: идем? Рука была ледяной. Такси ждет, Роза, мы опоздаем. Она застегнула на груди свое черное пальто: да, идем. На улице ждало такси, и я торопился. А как же мое будущее, Марина? А моя премия? И ты ждешь меня в Париже, на площади Saint André des Arts. Две недели спустя после моего приезда я получил извещение о денежном переводе, но никакого

письма не было. Ни даже просто записки. Я написал по адресу, который мне дали на почте, письмо вернулось — адресат неизвестен. Я обратился к нашим общим друзьям (на самом деле это были только мои друзья); никто из них не имел ни малейшего представления, куда она могла уехать, она ведь была необщительна, я говорил тебе. Даже после нашей с тобой женитьбы я возобновил поиски — тоска, угрызения совести или просто любопытство? Не знаю. Роза, Пропавшая Без Вести. Пропавшая. Я попытался написать новый портрет, вышла жалкая имитация — просто девушка в окне с апельсином в руках, а не Роза, зажавшая в руке мою жизнь, потому что мою жизнь взяла она, когда я протянул ей апельсин, — держи так и не двигайся. Все рухнуло. Я снова попытался написать портрет и разорвал его. Я пил один в мастерской, когда вдруг не выдержал и воззвал к Дьяволу: я хочу писать, как писал раньше, сделай так, чтобы я писал, как раньше, и я отдам тебе свою душу! Ты не хочешь мою душу? Неужели она так черна, что не нужна даже тебе? Когда пришла Марина, я рассказал ей, что хотел написать этот проклятый портрет, но Дьявол даже не отозвался. Просто у него и так слишком много душ, ответила она, он от них-то не знает, как избавиться. Все рухнуло. И апельсины тоже уже не те. Нет, ничего уже не повторить, полвека испарились как дым, сколько мне еще осталось? Ну, а если попробовать начать сначала, а? Как ты думаешь, уже поздно? Послушай, Марина, а если все-таки попытаться? Ответь мне, Марина: если я опять попробую начать сначала, а? Если бы ты мне помогла, если бы ты в меня поверила, я мог бы начать серьезно работать, к черту все, преодолеть тщеславие, эту бесконечную жажду успеха, работать в тишине, только мы вдвоем, только мы и больше никого, а? Вера. Любовь. Может, и любовь вернется, почему нет? Ответь, Марина, ответь! Разве так не бывает?

— Если я понадоблюсь, пусть сеньор нажмет на звонок, — говорит банщик, открывая дверь и пропуская очередного клиента. Тот входит, ступая твердо и величест-

венно.— Не слишком сильно? Прошу, полотенце сеньора.

Он оборачивается ко мне: достаточно? Я надеваю шлепанцы и запахиваю халат. Промокаю глаза. Лицо.

— Да, достаточно.

Банщик подходит ближе. Меня разбирает смех: я, вероятно, весь вытек в этой сауне, только синие пятна глаз держатся на поверхности. Ах, Марина! Ты тоже улыбаешься, ты права, сколько раз я уже все это обещал, сколько было планов! Преданность. Дисциплина и одиночество, помнишь? Настоящее извержение слов, уйма намерений. Будущего нет, и не станем говорить о том, чего нет. Есть настоящее. Только настоящее. И только за него я отвечаю.

— Ну как? — спрашивает банщик, ведя меня по коридору в раздевалку.

Я улыбаюсь, глядя на его огромные ступни, и отвечаю, что, пожалуй, я несколько ослаб, но зато совершенно чист.

Перед зеленым балом

Мимо проехала бело-голубая карнавальная повозка с участниками праздника, одетыми в костюмы Людовика XV. Из-под пудренного пирамидального парика знаменосца свисали длинные пряди, его атласный шлейф волочился по пыльному асфальту. Негр возле барабана отвесил глубокий поклон двум женщинам в окне и поплыл дальше в своей треуголке и ритмично колыхающемся, пропитанном потом плаще.

— Это ты ему понравилась,— проговорила молодая девушка, оборачиваясь к женщине рядом, которая все еще хлопала в ладоши.— Видела, как шикарно поклонился?

Негритянка усмехнулась:

— Лучше моего парня все равно никого нет, на мой вкус по крайней мере. Он, чует мое сердце, уже вернулся, мы договорились в десять на углу. Если опоздаю, заберет в голову невесть что, и тогда все, не будет мне никакого карнавала.

Девушка схватила ее за руку и потащила к ночному столику. В комнате царил хаос, как будто по ней прошел вор, выдергивая на ходу все ящики из шкафов и комодов.

— Я ничего не успеваю, Лу! Эта пьеретта... я с ней с ума сойду! Подожди, помоги мне немного.

— Так ты еще не кончила?

Усевшись на кровать, девушка разложила на коленях зеленую юбку. На девушке было зеленое бикини и зеленые кружевные чулки.

— Осталось только приклеить все это, видишь, вот... Я изобрела тут нечто немыслимое.

Негритянка подошла и села рядом, пригладив рукой свое шелковое блестящее кимоно. В ее курчавые волосы была воткнута красная бумажная хризантема.

— Раймундо уже, наверное, пришел. Он становится бешеным, если я опаздываю. Мы договорились идти смотреть шествие, сегодня я хочу увидеть все повозки до одной.

— Подожди, успеешь,— прервала ее девушка. Она откинула с глаз прядь волос и подняла упавший абажур.— Не знаю, как это я так проволынила.

— Но я не могу пропустить шествие, Татиза, понимаешь? Что угодно, только не это!

— А кто говорит, что ты его пропустишь?

Негритянка сунула палец в банку с клеем, а потом осторожно опустила его в тарелку, полную блессток. Затем она поднесла руку к юбке и начала приклеивать к ней блестку за блесткой, создавая какое-то неведомое созвездие. Наклонившись, она подняла с пола упавшую блестку, осторожно намазала ее клеем и тоже приложила к юбке, слегка прижимая, чтобы закрепить.

— И это что, по всей юбке так надо?..

— Не стони, пожалуйста! Я думала, успею, не бросать же теперь на полдороге, неужели не ясно? Ты только помоги мне прикрепить блестки, минутное дело, видишь, я даже уже покрасилась, как тебе моя физиономия? Ты так ничего и не сказала, нахалка такая! А?.. Ну что?

Женщина улыбнулась.

— Очень красиво. С этими зелеными волосами ты прямо как хризантема. Только зеленые ногти — это уж, моему, чересчур.

Девушка резко вскинула голову, глубоко вдохнула воздух и тыльной стороной руки провела по покрасневшемуся лицу.

— Ногти как раз и задают тон, тупица ты этакая. Бал называется зеленым, значит, и костюмы должны быть зелеными, и все должно быть зеленым. И нечего меня разглядывать, работай, можешь разговаривать, только не останавливайся. Нам осталось еще больше половины, Лу!

— Я очки забыла, без очков плохо видно.

— Неважно.— Девушка отерла платком стекавший по пальцу клей.— Прикрепляй как попало, в такой толчее все равно никто не разберет. Нет, я с ума сойду от этой жары, я больше не выдержу, у меня такое ощущение, будто я вся исхожу жидкостью, как ты только терпишь? Зверская жара!

Женщина попыталась водрузить на место хризантему, которая сползла ей на шею. Она нахмурила лоб и понизила голос:

— Я была там.

— И что?

— Он умирает.

По улице, отчаянно сигналив, прогрохотал автомобиль. Несколько мальчишек, отбивая такт палкой по железной сковороде, заорали: «А у короля корона ни золотая, ни серебряная...»

— Меня как будто в печку сунули,— простонала девушка, раздувая ноздри, на которых блестели капельки пота.— Если бы я знала, что будет такая жара, придумала бы костюм полегче.

— Еще полегче? Да ты и так почти голая, Татиза. Я собиралась надеть свой гавайский костюм, так и то Раймундо взбеленился — там часть бедра была видна. А ты в таком виде...

Кончиком ногтя Татиза поддела блесстку, приклеившуюся к чулку, прилепила ее в центр маленького созвездия на подоле юбки и начала сосредоточенно счищать с колена засохшую каплю. Рассеянно обвела вокруг себя взглядом, ни на чем не останавливаясь. И мрачно проговорила:

— Ты так считаешь?

— Что я считаю?

— Что он умирает?

— А, это да. Эти дела я знаю, навидалась, знаю, как бывает. Эту ночь он не переживет.

— Но ты уже однажды ошиблась, помнишь? Сказала,

что он при смерти, умрет с минуты на минуту... А он на следующий день молока попросил, такой радостный.

— Радостный? — изумленно воскликнула служанка и почмокала фиолетово-красными губами.— Во-первых, я не говорила, что он умрет, я сказала, что он очень плох,— вот что я тогда сказала. Но сегодня все иначе, Татиза. Я только заглянула в дверь, мне даже не надо было входить, чтобы понять, что он умирает.

— Но когда я там была, он спал, и так спокойно, Лу.

— Это не сон. Это другое.

Отшвырнув юбку, девушка резко поднялась. Подошла к столу, взяла бутылку виски и принялась отыскивать рюмку среди беспорядочно разбросанных флаконов и ящичков. Она оказалась под пуховкой от пудры. Девушка подула внутрь, выдувая со дна рисовую пыль, и выпила всю стопку большими глотками, не разжимая зубов. Выдохнула через рот и протянула бутылку негритянке:

— Хочешь?

— Я уже выпила много пива, не хочу мешать.

Девушка налила в рюмку еще виски.

— Моя краска еще не потекла? Посмотри на веках, зелень не смазалась? В жизни так не потела, у меня как будто вся кровь кипит.

— Ты слишком много выпила. И еще эта беготня... Не понимаю, зачем столько блессток, в толчее они все равно все отлетят. А главное, я не могу больше сидеть, как подумаю о Раймундо, там, на углу...

— Ты жуткая зануда, Лу! Заладила одно и то же: Раймундо да Раймундо! Он что, не может подождать, этот тип?

Женщина не ответила. Рассеянно улыбаясь, она прислушивалась к доносившейся издалека музыке и фальцетом подпевала: «И она зарыдала... и она зарыдала...»

— На прошлом карнавале я попала в группу «бродяг», повеселилась от души. Так танцевала, что даже каблук сбила.

— А я в это время загибалась от гриппа, помнишь? Но на этот раз я уж свое возьму.

— А отец как же?

Девушка медленно отерла платком белесые от клея кончики пальцев. Глотнула еще виски. И снова запустила палец в банку с клеем.

— А ты чего хочешь? Чтобы я сидела здесь и заливалась слезами? Этого ты хочешь? Чтобы я посыпала голову пеплом, встала на колени и молилась, тебе этого надо? — Она пристально глядела на кончик пальца, покрытый блестками. На юбке поблескивал брошенный наперсток.— Что я могу сделать? Что я, бог, что ли? Чем я виновата, если ему хуже?

— Я и не говорю, что ты виновата, Татиза. Упаси бог, отец твой, не мой. Делай, как считаешь нужным.

— Но ты все время твердишь, что он умирает!

— Так он действительно умирает.

— Ничего подобного! Я тоже заглядывала туда, он спит, умирающие так не спят.

— Ну, значит, не умирает.

Девушка подошла к окну и подняла лицо к фиолетовому небу. На тротуаре группа мальчишек поливала друг друга водой из пластиковых тюбиков. Мимо прошел мужчина, одетый женщиной, неестественно выворачивая ноги в туфлях на высоченных каблуках. Мальчишки бросили игру и засвистели ему вслед. Один из них, постарше, бросился за мужчиной, выкрикивая: «Пойдем со мной, красотка, пойдем со мной!» Девушка равнодушно наблюдала сцену. Потом рывком подтянула чулки, резинками прикрепленные к трусикам.

— Я вся в поту, как загнанная лошадь. Если бы не краска, я бы сейчас влезла под душ, что за идиотизм краситься раньше времени.

— Я тоже больше не выдерживаю в этом шелке,— проворчала служанка, засучивая рукава кимоно.— Эх, сейчас бы холодненького пивка! Что я люблю, так это пиво, хотя Раймундо предпочитает кашасу. В прошлом году он пил три дня беспробудно, и мне пришлось идти одной на карнавал. Моя повозка была красивее всех. Море изобража-

ла. Жаль, ты не видела, какие там были сирены, все в жемчугах. И еще пират, рыбак, морская звезда, все было! А на самом верху раковина то закрывается, то открывается, и в ней — морская царица вся в драгоценностях...

— Ты опять ошиблась,— прервала ее девушка.— Не может быть, чтобы он умирал. Не может. Я была там раньше тебя, и он преспокойно спал. И сегодня утром он даже узнал меня, так смотрел, и улыбнулся. У тебя все хорошо, папочка? — спросила я, а он не ответил, но я видела, что он прекрасно понял, что я сказала.

— Чего ему это стоило, бедняге!

— Как это, стоило?

— Ну, знает, что у тебя сегодня бал, не хотел расстраивать.

— О господи, как трудно говорить с дураками! — не выдержала девушка, сбрасывая с кровати на пол груды одежды. Она пошарила в карманах брюк.— Ты не брала моих сигарет?

— У меня своя марка, мне твои не требуются.

— Ну послушай, Лузинья, послушай,— вновь начала девушка, расправляя цветок в волосах негритянки.— Я не выдумываю, я уверена, что он узнал меня сегодня утром. Знаешь, я даже думаю, что он почувствовал какую-то боль, потому что у него вытекла слеза из глаза на парализованной стороне. Я никогда не видела, чтобы он плакал этим глазом, никогда. Понимаешь, только на парализованной стороне, и слеза такая темная...

— Он прощался.

— Ты опять за свое, дрянь такая! Хватит дурочку валять, ты будто хочешь, чтобы это случилось именно сегодня. Почему ты все время это повторяешь, а? Ну почему?

— Ты сама спрашиваешь, а потом не хочешь слушать. Врать я не собираюсь, Татиза.

Девушка заглянула под кровать и рывком выдернула оттуда туфлю. Наклонившись, она коснулась зелеными волосами пола. Поднялась, оглянулась вокруг. Опустилась на колени перед негритянкой, держа в руках банку с клеем.

— Ты не заглянула бы туда на секунду, а?

— Так ты хочешь или нет, чтобы я наконец закончила это? — Женщина раздраженно разлепляла покрытые клеем пальцы. — Раймундо, небось, уже остервенел от ожидания, будет мне сегодня на орехи.

Девушка вскочила с колен, сердито засопела и забежала по комнате, как зверь в клетке. Попавшуюся на дороге туфлю она отшвырнула ногой в сторону.

— Все этот проклятый врач. Это он виноват, скотина. Я говорила ему, что не могу оставаться в доме, я говорила, что не умею ухаживать за больными, ну не умею — и все! Если бы ты была доброй женщиной, ты бы мне помогла, но ты просто эгоистка и зануда, которая знать ничего не желает. Эгоистка ты, вот кто!

— Ну знаешь, Татиза, в конце концов, это твой отец, а не мой. И разве я не помогала все эти месяцы, как его хватил удар? Я не жалуясь, он человек хороший, бедняга, но побойся бога, сегодня не могу! Я и так вожусь тут с твоей юбкой, хотя мне уже давно пора быть на улице.

Усталым жестом девушка открыла дверцу шкафа. Взглянула в зеркало. Сжала складку на талии.

— Я поправилась, Лу?

— Ты? Поправилась? Да у тебя кожа да кости, девушка. Твоему-то, поди, и ухватиться не за что, а? Или есть?

Татиза похотливо шевельнула бедрами и засмеялась. Глаза заблестели.

— Ради бога, Лу, кончай скорее, в полночь он должен прийти за мной. Он заказал зеленое пьеро.

— На мне тоже однажды было пьеро. Правда, уже давно.

— Он приедет на Тайфуне. Чувствуешь, какой шик?

— Это что еще такое?

— Это такая шикарная красная повозка. Ну что ты на меня уставилась, Лу, давай быстрее, ты что, не видишь... — Она тоскливо провела рукой по шее. — Ах, Лу, ну почему он не остался в больнице?! Ему было так хорошо в больнице...

— В бесплатных больницах всегда так, Татиза. Они не могут возиться с больными, которые умрут неизвестно когда, на улице другие ждут.

— Я уже несколько месяцев мечтаю об этом бале. Он прожил шестьдесят шесть лет. Что, ему трудно прожить еще день?

Негритянка встряхнула юбку и придирчиво осмотрела ее, держа на вытянутых руках перед собой. Потом снова положила на согнутую руку и склонилась над тарелкой с блестками.

— Еще кусок остался.

— Только один день...

— Помоги мне, Татиза, вдвоем мы вмиг управимся.

Теперь обе работали не отвлекаясь. Руки то и дело бегали от банки с клеем к тарелке и от нее к юбке, которая была похожа на зеленое изогнутое крыло, отяжелевшее под блестками.

— Сегодня Раймундо меня убьет,— вновь начала причитать негритянка, наклепывая блестки почти наугад. Она провела тыльной стороной ладони по мокрому лбу, и внезапно ее рука повисла в воздухе.— Слышишь?

Девушка откликнулась не сразу.

— Что?

— По-моему, я слышала стон.

Татиза опустила глаза.

— Это на улице.

И они снова склонили головы, сблизив их под желтым пятном абажура.

— Послушай, Лу, ты не могла бы сегодня остаться, а? Только сегодня,— начала девушка робко. Потом осмелела: — Я бы отдала тебе свое белое платье, помнишь, то самое? И туфли, они еще новые, ты сама знаешь, что новые. А завтра можешь уходить, можешь уйти, когда захочешь, только сегодня, Лу, ради бога, останься сегодня!

Служанка торжествующе выпрямилась.

— Долго ты держалась, Татиза, долго. Я с самого начала все ждала. Но сегодня, хоть убей, не останусь.— Она так

затрясла головой, что хризантема упала, и она снова прикрепила ее шпилькой.— Пропустить шествие? Никогда! Я и так уже достаточно поработала,— добавила она, встряхивая юбку.— Готово, можно надевать. Не блеск, конечно, ну ничего, никто не заметит.

— Я отдала бы тебе голубое пальто,— прошептала девушка, вытирая пальцы платком.

— Даже если бы это был мой отец, Татиза, я не осталась бы сегодня, понятно тебе? Даже со своим собственным отцом, сегодня ни за что.

Вскочив одним прыжком, девушка схватила бутылку и, прикрыв веки, сделала еще несколько глотков. Надела юбку.

— Брррр! Это не виски, а настоящая бомба,— пробормотала она, подходя к зеркалу.— Ну-ка пойдн застегни мне, нечего сидеть с постной рожей. Зануда.

Женщина попыталась нащупать застежку в тюлевых складках.

— Что-то я не найду крючков...

Девушка стояла, широко расставив ноги и подняв голову. Она посмотрела в зеркало на негритянку.

— Ничего он не умирает, Лу. Ты ведь была без очков, когда входила к нему, потому и не разобрала. Он спал.

— Может, я действительно ошиблась...

— Конечно ошиблась. Он спал.

Женщина наморщила лоб и рукавом кимоно отерла пот с подбородка. Она откликнулась, как эхо:

— Он спал, конечно.

— Скорее, Лу, ты уже целый час копаешься с этими крючками!

— Все,— тихо пробормотала негритянка, отступая к двери.— Я ведь тебе больше не нужна?

— Постой! — властно окликнула девушка, молниеносно надушив платье. Провела по губам помадой и швырнула тюбик рядом с незакрытым флаконом.

— Я уже готова, выйдем вместе.

— Я опаздываю, Татиза.

— Постой, я же сказала, что готова,— повторила девушка, понизив голос.— Только сумку найду...

— Ты не будешь гасить свет?

— Так вроде лучше, а? Повеселее как-то.

Они остановились на верхней ступени лестницы и одновременно оглянулись: дверь была закрыта. Неподвижные, словно окаменевшие, обе женщины слушали, как в гостиной били часы. Первой шевельнулась негритянка.

— Пойди взгляни, Татиза,— выдохнула она.

— Лучше ты...

Они быстро переглянулись. Пот струйками тек по зеленым вискам девушки, мутный, как сок из кожуры зеленого лимона. С улицы донеслось несколько долгих автомобильных гудков. Снова забили часы. Негритянка мягко отстранила девушку и на цыпочках начала спускаться. Внизу она открыла дверь на улицу.

— Лу! Лу! — испуганно позвала девушка, еле сдерживаясь, чтобы не закричать.— Постой, я тоже иду...

Не отрывая рук от перил, она стремительно сбежала по лестнице. Когда за ней захлопнулась дверь, вниз по ступенькам слетели несколько зеленых блесток, как будто хотели догнать ее.

Рождество в предместье

С кино на дому у нас ничего не вышло: перед самым антрактом вскочил Педро-Блоха и заорал, что на экране все равно ничего не разберешь, что все это сплошное надувательство и он хочет деньги назад. Остальные тоже начали вопить и грозили разломать все стулья. Тут явилась моя мать, велела всем заткнуться и впредь запретила устраивать подобные сеансы в подвале. Она унесла с собой корзинку, которую я держал в руках,— было условлено, что в перерыве я буду ходить между рядами и выкрикивать: конфеты, печенье, шоколад!.. Хотя в корзинке лежала лишь горсть леденцов.

— Ты в главари не годишься,— обратился мой брат к Манеко.— На какие шиши теперь ясли для Христа делать будем? Я же говорил, что проектор не работает!

Манеко был сыном Марколино, бродяги из нашего квартала. Худой, грязный, а волос чернее, чем у него, я в жизни не видел.

— Осталось купить только небо,— вскинулся Манеко.— Синюю бумагу для неба и серебряную фольгу для звезд; звезды я сделаю. В прошлый раз я не сделал, что ли?

— Ничего не знаю. Главный теперь я, и все.

— Это мы еще посмотрим. Может, выйдем? — надвинулся на него Манеко.

Они направились на улицу. Мы молча шли сзади. Драка произошла под деревом, неравная драка, потому что мой брат силен как бык; он тут же положил Манеко на обе лопатки и уселся сверху:

— Проси пощады! Проси пощады!

Как раз в это время и появился Марколино. Он схватил сына за волосы, потрянул его в воздухе и вlepил такую пощечину, что тот отлетел в сторону и растянулся посреди мостовой.

— Дома еще поговорим,— буркнул бродяга, подтягивая ремень. Вечер был темный, но даже в темноте мы видели, что он пьян.— Пошли отсюда. Ну, быстро!

Манеко отер рукой кровь под носом. Его смоляные волосы спускались до самых бровей наподобие черного шлема. Он стянул на груди разорванную рубашку и поплелся за отцом.

— Вы все пришли? — спросила моя мать, увидев меня в дверях.

— Они там в бочке моются.

Мать слушала очередную историю по радио и штопала носки.

— Чем вы сегодня занимались?

— Ничем...

— Манеко был с вами?

— Только сначала, потом ушел.

— Этот мальчик болен, и болезнь у него заразная, тысячу раз тебе говорила! Сколько раз можно повторять, чтоб не водились вы с ним? Мальчик заразный, нечистый...

— У нас небо от яслей сгорело, а он один умеет звезды вырезать. Только он, понимаешь?

— Никакого сладу с вами. Если так дальше пойдет, не знаю, будут ли у вас на этот раз подарки в башмаках.

Мы уже давным-давно знали, что рождественского Деда изображала она сама. Ну, или отец, если успевал вернуться из своих поездок до конца года. Но оба они упорно продолжали твердить нам о святом, который должен был якобы вылезти из камина, которого у нас, кстати, сроду не было. Поэтому мы почитали за лучшее не сопротивляться и участвовали в спектакле с самым серьезным видом. Я писал записки этому самому Деду, где просил у него все, что взбредет в голову. Мать внимательно изучала их, вкладывала в конверт и ничего не говорила. А мои нетерпеливые братцы

заранее ходили вокруг комода с подарками, пытаюсь сломать замок, совали кончик ножа в замочную скважину, обнюхивали щели, строили догадки насчет содержимого и прыскали со смеху, выдумывая всякую чепуху, чтобы вставить ее в свои послания. Зато уж накануне знаменательного визита они ходили тише воды ниже травы, с постными физиономиями и до блеска надраивали свои ботинки, потому что было известно, что рождественский Дед сунет таракана в башмак, который не будет сиять, как зеркало.

В это рождество мы решили подзаработать немного и начали крутить кино в подвале. Но проклятый проектор ни черта не показывал. Тогда оставался вариант с яслями: я должен был стоять в своем балахоне для религиозных шествий с крыльями за спиной, зазывать возможных посетителей и брать с них деньги за вход.

— А как же небо? — вдруг вспомнил мой брат, бросая недоверчивый взгляд в сторону Манеко.— Что с небом-то будем делать?

Мы сидели на ступеньках паперти. Братья зашли за мной после урока по катехизису, и теперь мы обсуждали наши дела. Разомлевшие от жары, мы почти не шевелились, как и мухи, облепившие всю паперть. Они сидели так неподвижно, что казалось, любую можно было просто взять за крылья, но мы-то знали, что никому из нас не удалось бы захватить их врасплох в их кажущейся отрешенности.

— Я же сказал, что сделаю звезды,— откликнулся Манеко, скребя ногтями длинные ноги, на которых виднелись следы шрамов.— Я уже и песку на стройке достал, дома в ящике стоит; там песку навалом.

— А бумагу? Бумагу дашь?

— Я даю фольгу, звезды из фольги надо делать. Остальное за вами, я и так много дал.

Мы еще поспорили, и было решено завтра отправиться в один из пустующих особняков на Авенида Анжелика. Однако Манеко не пришел. Мы ждали его три дня.

— Испугался,— сказал мой брат.— Трус он и скотина. Полакиньо запротестовал:

— Болен он, не может встать. Отец Фрико говорит, что он, может, даже умрет...

— Это никого не интересует. Он обещал и не исполнил, значит, трусил. Пошли без него.

Мы влезли в окно особняка, посовали в сумку все лампочки и дверные ручки, которые смогли отвинтить, и успели смотаться раньше, чем сторож вернулся с обеда. Дома мы, не мешкая, направились в подвал и сразу же раскрыли сумку. По правде говоря, вне стен особняка, вдали от сверкающего хрусталя и резных дверей, наша добыча потеряла весь свой блеск: ручки были потертыми, а лампочки, казалось, вообще уже больше никогда не загорятся. Я потерял ладонью самую темную: а вдруг это волшебная лампа? Что бы я тогда попросил у джинна с золотым кольцом в ухе?

— Скорее! Бежим скорее! Там настоящий рождественский Дед, у лавки Селима,— с криком ворвался в подвал Мариньо, он совсем запыхался.— Давайте скорее!

— У Селима? Рождественский Дед? Хватит врать...

— Ничего я не вру, пошли, сами увидите, ей-богу, не вру!

Рождественский Дед в лавке Селима, в самой захудалой лавке квартала?

— Ну, если это вранье, ты мне заплатишь.— Полакиньо поднес кулак к самому носу Мариньо.

— Чтоб я ослеп!

Так же, впрочем, он клялся и когда нес самую отъявленную ложь. Но нам уже надоело стоять перед открытой сумкой, не имея ни малейшего представления, что делать с ее содержимым. Пора было менять занятие.

Едва мы завернули за угол, как тут же застыли с раскрытыми ртами: под сияющим взглядом Селима перед лавкой важно прохаживался взад и вперед огромный рождественский Дед собственной персоной. Мы подошли ближе. Тряся колокольчиком, человек поглаживал ватную бороду и ласково обращался к сыну какого-то типа, у которого, похоже, водились деньжата:

— Ну, что ты хочешь попросить у Дедушки? А? Ну,

деточка, подумай хорошенько... Мячик? А может, машинку?..

— Этого мужика я знаю,— процедил Полакиньо, прищуривая глаза.— Я его уже где-то видел...

Почувствовав, что за ним наблюдают, человек повернулся к нам спиной, раскладывая игрушки перед мальчишкой. Но мы описали полукруг и опять оказались перед ним. Он тотчас снова отвернулся, делая вид, что поправляет товар, вывешенный над дверью. Эта вторая его увертка нас насторожила. Мы подошли еще ближе с таким видом, будто нам на все это вообще наплевать. Рот и подбородок человека были скрыты ватной бородой. Красная шапка закрывала всю голову. Но эти сутулые плечи и эта походка?.. Мы его знали, сомнений не было. Но кто он? И почему избегал нас? Чего боялся?

Сейчас я думаю, что, если бы он так от нас не прятался, мы бы ничего не заподозрили: в конце концов, это был всего лишь очередной рождественский Дед, десятки их ходили по городу. Но это явное стремление не попасться нам на глаза — оно-то его и выдало. Нами овладело страшное возбуждение — он нас боялся. Никогда еще мы не чувствовали себя такими могущественными.

— Этот сукин сын из нашего квартала,— прошипел мне брат.— Голову даю на отсечение, что из нашего.

Полакиньо между тем внимательно изучал его ноги, стоптанные башмаки под клеенчатыми крагами, имитирующими сапоги. Ах эти башмаки! Огромные, съехавшие набок, совсем как у Чарли Чаплина, они были как бы вторым лицом их владельца. Никогда еще ни одни башмаки на свете не были до такой степени образом и подобием своего хозяина — отца Манеко.

— Марколино!

Он обернулся, как будто его ударили. И мы тут же покатались со смеху. Марколино — рождественский Дед! Пройдоха Марколино!..

— Марколино! Марколино! Снимай свою бороду!

От нашего открытия мы совсем ошалели: носились, скакали и, взявшись за руки, хором пели: «Мар-ко-ли-но! Мар-ко-

ли-но!» Напрасно он пытался сохранить достоинство и продолжать свою роль. Борода и шапка больше не защищали его, и мы чувствовали его стыд. И его ярость. Две старухи в соседних домах выглядели из окон и смеялись.

— Грязные воришки! — заорал Селим, бросаясь на нас с кулаками.— Прочь отсюда, бездельники! Прочь!

Мы кинулись врассыпную. Но тут же вернулись, еще более возбужденные, агрессивные, вместе с псом Фирпо, который носился вокруг с бешеным лаем и, как слепой, тыкался нам в ноги. Во всю мощь наших легких мы скандировали:

— Мар-ко-ли-но! Мар-ко-ли-но!..

И тогда он сорвал бороду. Сорвал халат и швырнул его на землю. И начал топтать их с таким бешенством, что Селим даже не пытался ему помешать. Это уже не была просто пьяная злоба, это была настоящая ярость, такая неуправляемая, что мы вдруг испугались, особенно когда увидели его белое как бумага лицо. Страх заставил нас замолчать, и тут я впервые заметил, что Манеко бывает удивительно похож на своего отца, когда так же злится, что у него точно такой же смоляной шлем, спускающийся до самых бровей. Утихомирившись, Марколино повернулся и пошел прочь в своих стоптанных башмаках, с выбившейся из брюк рубашкой. Окна в соседних домах закрылись. Фирпо умчался, зажав в зубах красный колпак, а ветер тем временем разметал по всей улице остатки ватной бороды. Полакиньо подобрал несколько кусков ваты и, послунившись, прилепил к подбородку, но никому уже не было смешно. Мы снова вернулись к нашей сумке с лампочками и дверными ручками.

На следующий день перед лавкой Селима прохаживался другой рождественский Дед. Незнакомый нам. После обеда мой брат влез на дерево и устроился на самой верхотуре. Раздвинув листву, он поглядел оттуда на нас.

— Печка, а печка!

— Печка! — откликнулись мы хором.

— Хочешь пирожка?

— Пирожка!

— Сделаете все, как прикажу?

— Сделаем, как прикажешь!

Он немного подумал. И улыбнулся.

— Хочу, чтобы вы пошли в подвал к Манеко, крикнули два раза: Мар-ко-ли-но! Мар-ко-ли-но! — и прибежали обратно. Быстро!

Мы бросились на улицу. Дверь в дом, населенный беднотой, была едва прикрыта. Две толстые негритянки беседовали, развалившись на стульях, выставленных на тротуар. Мы осторожно толкнули обшарпанную дверь, но тут же застыли, потрясенные нищетой и беспорядком, царившими в комнатенке с почерневшими стенами и наваленными по углам старыми матрасами. Манеко был один. Он лежал на одном из матрасов; из дыр торчала солома. Он едва успел сунуть что-то под одеяло. В руках у него были ножницы. При неверном свете масляной лампы он показался нам совсем желтым, а черный шлем его волос был еще более непроницаем. Таким мы видели его в последний раз.

— Предатели! — крикнул он хриплым голосом. — Что вам здесь еще надо, предатели?

Мы вышли, опустив головы. Прежде чем закрыть за собой дверь, я оглянулся. Манеко судорожно всхлипывал, пытаясь спрятать под одеяло острый конец серебряной звезды.

Приходи взглянуть на заход солнца

Она не спеша поднималась по неровному склону. Дома попадались все реже — неказистые домишки, разбросанные островками среди дикой, каменистой местности. Посреди немощеной улицы, заросшей там и сям ползучей растительностью, несколько ребятишек водили хоровод, и слабое эхо детских голосов было единственным напоминавшим о жизни звуком в неподвижной предвечерней тишине.

Он ждал ее, прислонившись к дереву. Худой, стройный, в широкой блузе цвета морской волны, с длинными, небрежно зачесанными волосами, он напоминал беззаботного студента.

— Ракел, дорогая!

Она взглянула на него серьезно, без улыбки, и перевела взгляд на свои туфли.

— Смотри, какие грязные. Только ты мог додуматься назначить встречу в таком месте. Что за фантазия, Рикардо? Мне пришлось выйти из такси внизу, никто не хотел тащиться на эту верхотуру.

Он улыбнулся лукаво и невинно:

— Никто, говоришь? Я думал, увижу тебя в брюках и свитере, а передо мной элегантная дама... Когда ты была со мной, ты предпочитала семимильные сапоги, помнишь?

— Ты заставил меня лезть сюда, чтобы сказать мне это? — Она открыла сумочку, убрала в нее носовой платок и достала сигарету.

— Ах, Ракел... — Он, смеясь, взял ее за руку. — Ты, Ракел, красивая женщина. И эти сигаретки голубые с золотом... Я подумал, что должен еще хотя бы раз увидеть всю эту красоту, почувствовать этот запах. Имел я на это право?

— Мог бы, по крайней мере, выбрать другое место.— Ее голос потеплел.— А что же здесь такое? Кладбище?

Он обернулся к старой, разрушенной стене и показал глазами на изъеденные ржавчиной железные ворота:

— Заброшенное кладбище, мой ангел. И живые, и мертвые — все его бросили. Даже привидений нет,— и добавил, глядя на детей, занятых своей игрой: — Видишь, ребятишки совсем не боятся.

Она глубоко затагнулась и выпустила дым в лицо приятелю.

— Рикардо в своем репертуаре. И что же дальше? Какова дальнейшая программа?

Он ласково обнял ее за талию.

— Я знаю здесь каждый уголок, тут лежат все мои предки. Пойдем, и я покажу тебе красивейший закат в мире.

Минуту она в растерянности смотрела на него, а потом расхохоталась, откинув назад голову.

— За-кат!.. О боже!.. Нет, это фантастика!.. Умолять о последнем свидании, изводить звонками несколько дней подряд, заставить тащиться по этим рытвинам: только один раз, еще только раз! И для чего? Чтобы увидеть закат на кладбище...

Он тоже засмеялся, изображая смущение, как ребенок, застигнутый врасплох за какой-нибудь проделкой.

— Ракед, дорогая, не будь такой злой. Ты же знаешь, что я с удовольствием пригласил бы тебя к себе, но я стал еще беднее, если это вообще возможно. Живу в жутком пансионе, хозяйка — настоящая Медуза Горгона, которая целыми днями подглядывает в чужие замочные скважины...

— И ты полагаешь, я бы пошла?

— Не сердись, знаю, что не пошла бы, ты ведь, что называется, верна до гроба. Вот я и подумал: хорошо бы нам поговорить где-нибудь в уединенном местечке...— Он подошел ближе. Кончиками пальцев погладил ей руку. И вдруг посерьезнел. Веер бесчисленных морщинок резко обозначился в уголках слегка прищуренных, внимательных глаз. В эту минуту он уже не казался таким молодым. Но вот

он снова улыбнулся, и морщинки исчезли, как будто их не было вовсе. Он опять стал простодушным и слегка рассеянным студентом.

— Ты хорошо сделала, что пришла.

— Ты хочешь сказать, что в этом, собственно, и вся программа?.. Может, зайдём в бар, выпьем чего-нибудь?

— У меня нет денег, душа моя, пойми наконец.

— У меня есть.

— Его деньги? Лучше я буду пить уксус. Я и выбрал это кладбище, потому что здесь очень приятно и вполне прилично, трудно найти более невинное местечко, ты не согласна? Здесь, я бы даже сказал, романтично.

Она посмотрела вокруг и высвободила руку, которую он сжимал.

— Все это очень рискованно, Рикардо. Он ревнив невыносимо. Достаточно того, что он знает о моих прошлых историях. Если он застанет нас вместе, тогда... тогда мне только хотелось бы знать, какая из твоих фантастических идей будет способна вернуть мне жизнь.

— Но ведь я и вспомнил об этих местах именно потому, что не хотел, чтобы ты рисковала, мой ангел. Трудно найти место более уединенное, чем заброшенное кладбище, ты только посмотри,— продолжал он, открывая ворота. Ржавые петли заскрипели.— Совершенно заброшенное. Никогда ни один его друг, ни друг его друга не узнает, что мы были здесь.

— Говорю тебе, что все это очень рискованно. Ради бога, кончай эти шутки. А вдруг похороны какие-нибудь? Я не переносу похорон.

— Какие похороны, Раquel? Сколько раз тебе повторять: здесь уже давным-давно никого не хоронят, думаю, даже костей не осталось, надо же сказать такую глупость! Идем со мной, дай руку, не бойся.

Ползучий кустарник заполнял все вокруг. Он стелился по поверхности могил, яростно захватывая все новое пространство, бежал вдоль дорожек, покрытых пожелтевшей галькой, взбирался на надгробия, алчно заполняя трещины

в мраморе, словно своей неудержимой жаждой жизни хотел навсегда похоронить последние следы исчезающей смерти. Они шли не спеша по длинной, залитой солнцем аллее. Шаги звонко отдавались в предвечернем воздухе, сливаясь в странную музыку с шуршанием сухих листьев. Раquel еще была раздражена, но шла покорно, как ребенок, изредка с любопытством взглядывая на надгробия с выцветшими эмалевыми медальонами.

— Слушай, оно огромное. И такое убогое, в жизни не видела более убогого кладбища. И жутко запущенное.— Она указала кончиком сигареты на маленького амурчика с отбитой головой.— Пошли отсюда, Рикардо, хватит.

— Ах, Раquel, да ты только взгляни на этот вечер! Запущенное! Ну и что? Не помню, где это я читал, что красота, она не в свете утра, не во мраке ночи, но в сумерках, в этих полутонах, в их неопределенности. И вот я подаю ей сумерки как по заказу, а она недовольна.

— Я не люблю кладбищ, я уже тебе говорила. К тому же еще убогих.

Он наклонился и легко коснулся губами ее руки.

— Вы обещали подарить этот вечер своему верному рабу.

— Да, и плохо сделала. Все это, может быть, даже занятно, но я не хочу больше рисковать.

— Он действительно так богат?

— Немыслимо. Сейчас он предлагает мне путешествие на Восток. Это фантастика. Ты знаешь, что такое Восток, мой милый? Представляешь, мы едем с ним на Восток...

Он поднял с земли камешек и крепко сжал его в ладони. И вновь частая сеть морщинок побежала вокруг глаз. Открытое и гладкое, его лицо вдруг стало старым. Но улыбка тут же вновь озарила его, и морщинки исчезли без следа.

— Я тоже как-то возил тебя кататься на лодке, помнишь?

Она замедлила шаг и положила голову ему на плечо.

— Знаешь, Рикардо, откровенно говоря, ты мне всегда казался немного того... И все равно иногда я скучаю по тому времени. Какой год был! Честное слово, до сих пор не понимаю, как я выдержала столько. Целый год!

— Просто ты тогда читала «Даму с камелиями» и была вся такая нежная, сентиментальная. А сейчас что ты читаешь?

— Ничего,— ответила она, скривив губы, и остановилась, чтобы прочесть надпись на разрушенной каменной стеле: — «Моей дорогой супруге, вечная память». — Она почмокала губами: — Да, недолго продолжалась эта вечность.

Он швырнул камешек в заросшую могилу.

— Но ведь именно эта заброшенность и составляет очарование этих мест. Никакого вмешательства живых. Этого их идиотского вмешательства. Смотри,— он показал на разрушенное надгробие, из каждой трещины которого пучками вылезала трава,— даже имя на камне покрыто мхом. Потом этот мох покроют корни, листья... Это абсолютная смерть — ни воспоминаний, ни сожалений, ни даже имени. Ничего.

Она еще теснее прижалась к нему. Зевнула.

— Все это прекрасно, но теперь идем отсюда, хватит с меня этих забав, давно я так не веселилась, только такой человек, как ты, мог придумать для меня такое развлечение.— Она чмокнула его в щеку.— Хватит, Рикардо. Я хочу домой.

— Еще немного...

— Но этому кладбищу конца нет, мы прошли уже бог знает сколько! — Она оглянулась.— В жизни столько не ходила. Я буду как выжатый лимон, Рикардо.

— Сытая жизнь сделала тебя ленивой? Ай как хорошо! — проговорил он, подталкивая ее вперед.— Сейчас свернем с этой аллеи, и там будут могилы моих, оттуда как раз и виден закат.— Он обнял ее за талию.— Знаешь, мы много гуляли здесь с моей двоюродной сестрой. Нам было по двенадцать лет, и мы ходили, взявшись за руки. Каждое воскресенье мать приходила сюда, приносила цветы и прибирала в часовенке, где был похоронен мой отец. Мы с сестрой приходили вместе с ней, гуляли, строили планы. Сейчас их обеих нет.

— И сестра умерла?

— Да, сестра тоже. Когда ей исполнилось пятнадцать. Она не была красива в собственном смысле слова. Но у нее были глаза... зеленые, как у тебя, очень похожи на твои. Невероятно, Ракел, просто невероятно, как вы обе... Думаю, вся ее красота была именно в этих глазах, знаешь, немного косящих и таких сияющих.

— Вы любили друга друга?

— Она меня любила. Это было единственное существо, которое...— Он махнул рукой.— Ладно, все это не важно.

Ракел взяла у него сигарету, затянулась и снова отдала.

— Ты мне нравился, Рикардо.

— А я любил тебя. И до сих пор люблю. Чувствуешь разницу?

Какая-то птица выпорхнула из ветвей кипариса и закричала. Ракел вздрогнула.

— Кажется, похолодало? Идем отсюда.

— Мы уже пришли, мой ангел. Вот они, мои мертвецы.

Они остановились перед небольшой часовней, сверху донизу обвитой каким-то ползучим растением, будто заключившим ее в свои неистовые объятия. Узкая дверь заскрипела, когда Рикардо раздвинул створки. Свет заполнил тесную келью с почерневшими стенами, изрытыми узкими желобами от старых водостоков. Полуразрушенный алтарь в центре был покрыт пожелтевшей от времени тканью. По обеим сторонам грубого распятия стояли две вазы из выцветшего опала. Вдоль поперечной перекладины креста, от одного конца до другого, паук соткал свою паутину, она порвалась и теперь свисала, как лохмотья плаща, брошенного кем-то на плечи Христу. В правой от входа стене была маленькая железная дверца, за которой крутым винтом уходила вниз каменная лестница.

Ракел вошла на цыпочках, опасаясь даже ненароком коснуться этих руин.

— Как здесь мрачно, Рикардо. И ты с тех пор здесь не был?

Он тронул рукой лицо Христа, покрытое пылью.

— Ты, конечно, предпочла бы, чтобы здесь все было

красиво — цветочки в вазах, свечки, все эти знаки моего внимания? Но я ведь уже говорил тебе, что люблю это кладбище именно за его запущенность, уединенность. Мосты, связывавшие его с миром, сожжены, и здесь царит смерть. Абсолютно и единовластно.

Она подошла к железной дверце и заглянула вниз сквозь заржавелые прутья. В полутьме подземелья виднелись ниши в стенах, образующих узкий серый прямоугольник.

— А что там, внизу?

— Там? Там ниши. А в них — мои корни. Пепел, мой ангел, пепел, — бормотал он, открывая дверцу и спускаясь по лестнице. Он приблизился к центральной нише, крепко держась за бронзовое кольцо, как будто хотел его вытащить. — Каменный комод. Он не кажется тебе величественным? А?

Стоя на верхней ступени лестницы, она наклонилась вперед, чтобы лучше разглядеть.

— И все они заполнены?

— Заполнены? — Он усмехнулся. — Нет, только те, на которых есть портрет и надпись, видишь? Вот на этой — портрет моей матери, здесь покоится моя мать. — Он коснулся кончиками пальцев эмалевого медальона, вдавленного в центре ниши.

Она скрестила руки на груди и тихим, слегка дрожащим голосом проговорила:

— Идем, Рикардо, идем.

— Ты боишься.

— Нет, разумеется, просто мне холодно. Поднимайся и пошли отсюда, я замерзла.

Он не ответил. Осторожно переместился к двум нишам в стене напротив и зажег спичку, склонившись к слабо поблескивавшему медальону.

— Мария Камила, сестренка. Я даже помню день, когда она фотографировалась для этого портрета. За две недели до смерти... Завязала волосы голубой лентой и пришла показаться: я красивая? Красивая?.. — Теперь он говорил

сам с собой, ласково и серьезно.— Не то чтобы красивая, но глаза... Иди сюда, Раquel, поразительно, до чего ее глаза походят на твои.

Она спустилась по лестнице, стараясь ничего не коснуться по дороге.

— Какой холод! И темнота. Я ничего не вижу...

Он зажег спичку и передал ей.

— Возьми, сразу все увидишь...— Он отодвинулся.—
Смотри на глаза.

— Но он так стерся, не сразу поймешь, что это девушка...— Раньше чем спичка погасла, она поднесла ее поближе к надписи, выбитой на камне, и прочла громко и медленно: — Мария Камила, родилась двадцатого мая тысяча восьмисотого года и скончалась...— Раquel выронила спичку и на какое-то мгновение замерла.— Но она не могла быть твоей возлюбленной, она умерла больше ста лет назад! Бессовестный л...

Легкий металлический щелчок заставил ее остановиться на полуслове. Раquel оглянулась. Вокруг никого не было. Посмотрела на лестницу. Сверху Рикардо разглядывал ее сквозь прутья захлопнутой дверцы. И улыбался, лукаво и невинно.

— Это никогда не было могилой твоих предков, бессовестный лгун! Кретинская шутка! — Она быстро поднялась по лестнице.— Нисколько не остроумно, понял?

Он дождался, пока она почти коснулась рукой замка железной дверцы. И в тот же миг повернул ключ, вытащил его и отпрыгнул назад.

— Открой немедленно, Рикардо! Ну, быстро! — приказала она, пытаясь повернуть замок.— Я не выношу подобных шуток, ты знаешь. Идиот несчастный! От таких идиотов ничего другого ждать не приходится. Дурацкая шутка!

— Солнечный луч войдет в трещину в двери, там в двери есть трещина. Потом медленно, очень медленно погаснет. Ты увидишь красивейший закат в мире.

Она затрясла дверцу.

— Довольно, Рикардо, слышишь? Хватит! Открой немед-

ленно, немедленно! — Теперь Раquel трясла дверцу что есть силы, вцепившись в нее, почти повиснув на прутьях. Она задыхалась, в глазах стояли слезы. Наконец она попыталась изобразить улыбку.— Послушай, мой хороший, все это было очаровательно, но теперь мне действительно надо идти, ну открывай...

Рикардо уже не улыбался. Он стоял серьезный, глаза сузились. Вокруг них опять веером разбежались бесчисленные морщинки.

— Спокойной ночи, Раquel!

— Хватит, Рикардо! Ты мне за все заплатишь!..— Ее руки тянулись сквозь решетку, пытались схватить его.— Кретин! Дай сюда ключ сейчас же! — потребовала она, разглядывая новенький замок. Потом перевела взгляд на покрытые ржавой коростой прутья. И затихла. Подняла глаза и увидела ключ, который раскачивался, как маятник, на кольце, зажатом в руке Рикардо. Широко раскрытыми глазами она следила за ним, прижав к прутьям помертвевшее лицо. Наконец тело ее обмякло, и она соскользнула вниз.— Нет, нет...

Все еще повернувшись к ней лицом, Рикардо отступил к двери и потянул на себя створки.

— Спокойной ночи, мой ангел.

Ее губы беззвучно смыкались и размыкались, как будто были намазаны клеем. Глаза бессмысленно блуждали.

Сунув ключ в карман, он пошел назад прежним путем. В тишине скрипела под ногами влажная галька. И вдруг нечеловеческий, леденящий душу крик:

— НЕТ!

Еще в течение некоторого времени эхо доносило до него крики, похожие на вой зверя, которого режут на куски. Потом они стали глуше, отдаленнее, как будто шли из-под земли. У ворот он остановился, бросил тусклый взгляд на догорающее небо. Прислушался. Ни одно человеческое ухо не могло бы теперь различить ничего похожего на зов. Он зажег сигарету и начал спускаться по склону. Вдалеке дети водили свой хоровод.

Охота

От свернутых гобеленов и изъеденных молью книг в антикварной лавке пахло, как из сундука с церковной утварью. Кончиками пальцев человек коснулся сложенных стопой картин. Оттуда вылетел мотылек и тут же наткнулся на раскрашенную деревянную статую святого с отбитыми руками.

— Красивая статуя,— проговорил человек.

Старуха вытащила из пучка шпильку и начала чистить ноготь на большом пальце.

— Это Святой Франциск,— сказала она и снова сунула шпильку в волосы.

Человек медленно повернулся и посмотрел на шелковый гобелен, занимавший всю стену в глубине. Подошел поближе. Старуха подошла вместе с ним.

— Я уже заметила, сеньор заинтересовался этой штукой... Жаль, что он в таком состоянии.

Человек протянул руку к ткани, но не коснулся ее.

— Сегодня вроде яснее...

— Яснее? — повторила старуха, надевая очки. Она скользнула рукой по гладкой поверхности.— Как это, яснее?

— Краски стали ярче. Вы что-нибудь с ним делали?

Старуха взглянула на него, но тут же перевела глаза на Святого Франциска с отбитыми руками: лицо у человека было бледно и растерянно, как у статуи.

— Ничего я с ним не делала. С чего сеньор взял?

— Просто я заметил разницу.

— Нет, нет, ничего я не делала. Этот гобелен не выдержит никакой чистки, разве сеньор не видит? Я вообще думаю,

что только из-за пыли он еще не развалился, — добавила она, вновь вынимая из головы шпильку и принимаясь вертеть ее между пальцами. Потом задумчиво почмокала губами: — Его принес один парень, ему очень нужны были деньги. Я ему говорю: ткань, мол, совсем выношена, вряд ли кто такое купит, но он так просил... Ну, я его здесь и повесила. Но это уж давно было. Он так с тех пор и не появлялся.

— Невероятно...

Старуха не поняла, что теперь имел в виду посетитель: гобелен или рассказанную историю. Она пожала плечами и снова принялась чистить ногти шпилькой.

— Хорошо бы продать, конечно, но, думаю, вряд ли это удастся. Начнешь снимать, он и развалится на куски.

Человек закурил. Рука дрожала. Боже мой, когда? Когда он все это видел? И где?

Сцена изображала охоту. На первом плане стоял охотник с натянутым луком в руках и целился прямо в густую листву. Немного глубже, среди деревьев, можно было различить фигуру другого охотника, но это был лишь смутный силуэт с бледным пятном вместо лица. От первой фигуры веяло мощью и уверенностью, курчавая борода напоминала сплетенный клубок змей, мускулы напряглись в ожидании, когда птица взвьется из густых ветвей и можно будет выпустить в нее стрелу.

Человек прерывисто дышал. Его блуждающий взгляд скользил по бледно-зеленой, как небо перед грозой, поверхности ткани. То тут, то там на блеклом фоне ядовито темнели фиолетовые пятна, как будто сама листва выделяла некую вредоносную жидкость, которая стекала по сапогам охотника и уходила в землю. Листва, в которой пряталась дичь, тоже была покрыта такими пятнами — они могли быть частью рисунка или просто следами времени.

— Сегодня все как будто яснее, — пробормотал человек. — И как будто... Вам не кажется, что есть разница?

Старуха уставилась на рисунок. Она сняла очки, потом снова надела.

— Не вижу я никакой разницы.

— Ну как же, вчера было непонятно, выпустил он стрелу или нет.

— Стрелу? Сеньор видит какую-нибудь стрелу?

— Вот здесь точка, у самого лука...

Старуха недоверчиво потянула носом.

— А это не от моли случайно? Вон уж и стена видна. Спасу от этой моли нет,— пожаловалась она, подавляя зевок.— Сеньор может оставаться сколько захочет. Пойду чайку попить.— Она сделала неопределенный жест рукой и ушла, неслышно ступая в войлочных шлепанцах.

Человек выронил из рук сигарету и медленно раздавил ее ногой. Стиснутые челюсти заломило от боли. Он знал этот лес, этого охотника, это небо. О, как хорошо он их знал! Он почти чувствовал, как щекочет ноздри аромат эвкалиптов, как покалывает кожу влажный холод рассвета. Этот рассвет! Когда это было? Он уже ходил по этой тропинке, вдыхал густой туман, опускающийся с зеленого неба... Или это испарения от земли? Охотник с курчавой бородой, казалось, улыбался, коварно и фальшиво. Может, он был этим охотником? Или тем, в глубине, подсматривающим из-за деревьев? Со стертым лицом? Он был одним из действующих лиц картины, это ясно, но каким? Его взгляд остановился на густых ветвях, где пряталась дичь. Листья, листья, только тишина и листья, слившиеся в одну сплошную тень. Но там, за ними, сквозь темные пятна он угадывал напряженный силуэт животного или птицы. Ему стало жаль этого охваченного паникой, судорожно ищущего спасения существа. Вот она, смерть, совсем рядом! Малейшее движение охотника, и полетит стрела... Старуха не смогла разглядеть ее, да и никто бы не разглядел эту едва заметную точку, бледнее пылинки, над самой изогнутой частью лука.

Он вытер вспотевшие ладони и отступил на несколько шагов. Теперь ему стало поспокойнее, теперь, когда он знал, что тоже был участником охоты. Однако покой был какой-то безжизненный, весь пропитанный той же ядо-

витой жидкостью, что стекала с листьев. Он прикрыл глаза. А что, если он был художником, написавшим картину? В сущности, старинные гобелены бывали, как правило, своего рода репродукциями картин, разве не так? Допустим, он нарисовал картину, и теперь ему, естественно, ничего не стоило воспроизвести всю сцену с закрытыми глазами вплоть до мельчайших деталей: контуры деревьев, небо, потемневшее, как перед бурей, охотника с курчавой бородой, будто сотканного из мускулов и нервов, с луком в руках, нацеленным в густую листву... «Я ведь не выношу охоты! Ну почему я обязательно должен быть там, внутри?»

Он прижал к губам платок. Тошнота. О господи, если б он мог объяснить весь этот ужас, если б мог!.. А если он был просто зрителем? Из тех, что смотрят и идут дальше? А? Почему нет? Он мог видеть картину еще в оригинале, и тогда вся охота становилась не более чем вымыслом художника. «До того как ее перенесли на ткань...» — бормотал он, вытирая платком потные пальцы.

Он откинул голову назад, как будто его потянули за волосы; нет, нет, он был не снаружи, он был там, внутри, участником сцены. Но почему сегодня все казалось более отчетливым, чем вчера, почему краски были ярче, несмотря на сумрак? Почему обаяние, исходившее от этого пейзажа, было теперь таким завораживающим, таким обновленным?..

Он вышел из лавки, опустив голову и засунув руки глубоко в карманы. На углу остановился передохнуть — тело ломило от усталости, веки отяжелели. Заснуть бы! Но он знал, что заснуть не удастся. Бессонница, он это чувствовал, теперь будет следовать за ним вернее собственной тени. Он поднял воротник пальто. Действительно холодно? Или это отголосок утренней свежести, которой веяло от гобелена? «Психоз!.. Но я не сумасшедший, — заключил он и беспомощно улыбнулся. Это было бы слишком просто. — К сожалению, я не сумасшедший».

Он побродил по улицам, зашел в кино, тотчас вышел и когда пришел в себя, увидел, что стоит перед антиквар-

ной лавкой, прижавшись носом к витринному стеклу, и пытается разглядеть в глубине старый гобелен.

Дома он ничком бросился на кровать и замер, уставив в темноту широко открытый взгляд. Откуда-то из подушки несся дребезжащий голос старухи, голос вне тела, засунутый в войлочные шлепанцы: «Какая стрела? Я не вижу никакой стрелы...» Смешиваясь с ним, донеслись шуршание моли и легкий смех. Вата в подушке заглушала взрывы хохота, которые переплетались, образуя частую зеленоватую сеть, стягивались в плотную ткань, покрытую пятнами, стекавшими к самому краю каймы. Он почувствовал и себя опутанным нитями, захотел высвободиться, но кайма обви-лась вокруг него и не давала вырваться. Внизу, на самом дне ямы, он смог различить спутанный черно-зеленый клубок змей. Он ощупал подбородок. «Так я охотник?» Но вместо бороды пальцы ощутили тягучую клейкость крови.

Он проснулся от собственного крика, разнесшегося в тишине рассвета. Отер пот с лица. То жара, то холод! Он завернулся в простыни. А что, если он был ремесленником, который ткал этот гобелен? Тогда тоже мог бы воспроизвести в памяти картину такой яркой, такой выразительной, что, кажется, протяни руку — и зашуршит листва. Он сжал кулаки. Надо уничтожить ее, быть не может, чтобы за этой жалкой тряпкой что-то скрывалось, все это не более чем кусок ткани, который еще не развалился только из-за пыли, пропитавшей его. Достаточно сдуть пыль, только сдуть пыль!

Он столкнулся со старухой на самом пороге лавки. Она насмешливо усмехнулась:

— Сегодня сеньор что-то рано.

— Сеньоре, наверное, кажется странным...

— Мне уже ничего не кажется странным, парень.

Входи, входи, дорогу сеньор знает.

«Я знаю дорогу», — шептал он побелевшими губами, пробираясь среди нагромождения мебели. И вдруг он остановился, ноздри его расширились. Запах. Этот запах прелой листвы, откуда он? И почему вдруг поплыла и отодвинулась куда-то лавка и только картина на стене стала

единственной огромной реальностью? Она уже ползла по полу, заполняла потолок, ее бледно-зеленые пятна медленно заглатывали все вокруг. Он попытался отступить, схватился за какой-то шкаф, покачнулся, все еще сопротивляясь, и протянул руку к колонне. Его пальцы прошли сквозь листву и скользнули по стволу дерева, это была не колонна, это было дерево! Он обвел вокруг себя расширившимся взглядом и понял, что стоит внутри картины, в лесу. Ноги утопали в опавшей листве, волосы были влажны от утреннего тумана. Вокруг все было неподвижным. Застывшим. Ни пения птиц, ни шороха листьев в предрассветной тишине... Он глубоко вздохнул, успокаивая дыхание. Так он охотник? Или дичь? Но это уже было неважно. Неважно. Он только знал, что должен бежать, мчаться среди деревьев, преследуя жертву или спасаясь от преследования. Спасаясь?.. Он сжал ладонями горящее лицо, вытер рубашкой пот, стекавший по шее. На потрескавшихся губах выступила кровь.

Он открыл рот. И вспомнил. С криком кинулся он в самую гущу деревьев. До слуха долетел свист стрелы, пронзившей листву. Боль!

«Нет...» — простонал он и упал на колени. Попытался еще ухватиться за шелковую ткань на стене. И покатился, сжавшись в комок и прижав руки к сердцу.

Консультация

Доктор Рамазиан выглянул в окно и посмотрел в сад, освещенный лучами бледного зимнего солнца. Некоторые пациенты сидели на скамейках, другие прохаживались, но все были вялыми, изможденными. Один старик лег на лужайку, снял пуловер и принялся стягивать с себя нижнюю шерстяную рубашку, но к нему подошел санитар в джинсах, взял под руки и потащил в здание.

Юноша в альпаргатах закрыл лицо руками.

— Макс! Максимилиано! — позвал врач.— Подойди сюда на минутку, пожалуйста.

Мужчина, который смотрел на улицу сквозь решетчатые ворота, обернулся. Он пошел на зов улыбаясь, засунув руки в карманы ярко-синей куртки с серебряными пуговицами. По пути нагнулся и снял со своих фланелевых брюк листик.

— Здравствуйте, доктор.

Врач выбил уже пустую трубку о подоконник, сдул пепел и поглядел на подошедшего.

— По-моему, вы сегодня в хорошем настроении, Макс.

— Сейчас я и правда в хорошем настроении. А то у меня были кошмары. Я видел посреди улицы раздавленного голубя с зеленой веточкой в клюве. Очень зеленая веточка среди крови. Удивительное совпадение.

— Какое совпадение?

— Да кошечку здесь же раздавили, напротив ворот. Совсем как голубя.

— Но без зеленой веточки.

© Livraria José Olympio Editora, 1980.

— Без зеленой веточки,— повторил Максимилиано, глядя на трубку, которую доктор положил на стол.— Вы уходите?

— У меня назначена встреча, а доны Дорис все нет. Ты не мог бы посидеть здесь у телефона? Сделай мне одолжение. К четырем я вернусь.

— С удовольствием,— согласился Максимилиано. Он оперся руками на низкий подоконник и ловко прыгнул в кабинет.

— Я счастлив, когда вы мне поручаете даже самые пустяковые дела — отвечать по телефону, например, или чистить ваши ботинки.

Врач закрыл чемоданчик.

— Ты никогда не чистил мне ботинки, Макс.

— Но я бы почистил. Вам и Иисусу Христу.

— Иисус ходил в сандалиях,— сказал доктор Рамазиан, кладя в карман ручку. Он показал на блокнот возле телефона.— Если что-нибудь будут передавать, записывай сюда, хорошо? Захочешь кофе, свари, ты знаешь, где что лежит. Ну, я пошел.

Когда врач вышел, Максимилиано сел на вращающийся стул и облокотился на стол. Взял трубку, внимательно рассмотрел ее. Вдохнул запах табака. Оставил трубку, повертел в руках шпатель. В дверь постучали робко, еле слышно.

— Доктор Рамазиан? — спросили, чуть приоткрыв дверь и заглядывая в щелку. Ручку замка не отпускали.— Простите, что я так рано, мне назначено на четыре, но не могли бы вы принять меня сейчас?

— Конечно могу. Вы первый раз?

— Первый. Я говорил с доной Дорис, но...

— Сегодня ее не будет. Садитесь, пожалуйста.

— Я просто не мог больше ждать,— сказал он, ослабляя узел галстука, и нервно потер подбородок.— Я не побрился, заметно? Я приехал слишком рано и бродил здесь поблизости, но меня охватило такое волнение, что показалось, будто я схожу с ума!

— Вы преувеличиваете. Те, кто сходит с ума, так не говорят. Они этого не знают. Закурите? — спросил Мак-

симилиано, открывая сигаретницу, стоявшую возле подставки для трубок.

— Спасибо, предпочитаю свои,— сказал посетитель, вынимая из кармана пачку. Рука у него дрожала.— Я выкуриваю три-четыре пачки в день, одну от другой прикуриваю,— добавил он, обводя кабинет беспокойным взглядом. Посмотрел в окно.— Эти, в саду, все сумасшедшие?

Максимилиано открыл кисет, набил трубку.

— Не все, с ними врачи и санитары, мы отменили халаты и фартуки, больные не должны чувствовать разницы. Я сам иной раз путаюсь.

— Мой отец узнавал сумасшедших по глазам.

Максимилиано опустил веки и улыбнулся.

— Тоже метод,— сказал он наклоняясь. В руке у него была незажженная трубка.— Какие же у вас проблемы?

— Даже не знаю, как начать, это слишком нелепо, просто смешно! Понимаете, у меня навязчивая идея, но этот страх бессмыслен!

— Какой страх?

— Страх смерти.

Белый телефон зазвонил приглушенно, словно цикада, запертая в ящике стола. Максимилиано послушал, сказал «его нет», потянулся за карандашом и после равнодушного «как угодно» закончил разговор. Он опять взял со стола трубку, но отказался от предложенной посетителем зажигалки, поблагодарил, курить он не собирался, ему просто нравилось держать ее в руке. Пациент скорбно взглянул на Максимилиано.

— Хотел бы и я курить поменьше. Ведь больше трех пачек выкуриваю,— пожаловался он, стиснув свои худые руки.— Я не сплю, не ем как следует, пренебрегаю своими обязанностями, вообще ничего не делаю, только думаю об одном и том же, я не могу ни говорить, ни слушать об этом, мне сразу становится дурно, вот и сейчас, видите? Я поговорил и уже вспотел, меня тошнит! Я все время думаю, думаю, совсем потерял вкус к жизни... И так всюду: на работе, дома с женой, в постели с любовницей,

у меня есть любовница, очень добрая девушка, не знаю, как она меня еще терпит, от свиданий я стал уклоняться, а последний раз — какой позор! — я так ничего и не смог, истукан, да и только! Кажется, это было сто лет назад! Сто лет,— повторил он, трясая головой. С трудом сглотнул, закрыл воспаленные глаза.— Сегодня жене пришлось напоминать мне, что надо сменить белье, я забываю бриться... Я больше не могу, не могу! Почти год я так мучаюсь. Началось это постепенно, мне становилось не по себе, когда рассказывали о чьей-то сме... кончине. Я старался не поддерживать такие разговоры, не ездил на кла... в места упокоения, в больницы, где я чувствовал ее запах, там она хоть и скрыта за завесой, обезврежена, но все-таки она там, она ждет, понимаете, что я хочу сказать? Мне становилось хуже, появилась рвота, меня охватывал ужас, я просыпался с мыслью о ней, о том, что она может приключиться не только со мной, но и с моими близкими. У меня двое детей, они уже смеются над моими страхами, я боюсь заразы, несчастных случаев. По-моему, все на свете приводит к ней, и очень быстро, мне кажется, я переболел в воображении всеми болезнями, какие только существуют на свете. Я прошел десятки обследований, делал рентгеновские снимки, мой врач больше не хочет мной заниматься: у вас все в порядке, он мне это говорил бог знает сколько раз. А на самом деле не в порядке. Я испытываю страх, ложась в постель,— а вдруг она застанет меня во сне, захватит врасплох? Иногда я представляю ее себе в образе мерзкой, дряхлой проститутки, издевательски подмигивающей мне. А иногда, когда слушаю музыку,— музыка — мое единственное утешение, доктор,— она мне кажется нежной девой из старинных баллад с венком жасмина на голове, она манит меня холодными, прозрачными пальцами... Не знаю, какая из них пугает меня больше, эта или та, гнусная, грязная. Ах, доктор, каково тридцатипятилетнему человеку дрожать как ребенку, заблудившемуся в темном лесу, хнычущему, зовущему мамочку...— Он откинулся на спинку, уселся поудобнее.— Вчера во сне я ее позвал. Она пришла и очень

ласково протянула мне руку, но когда я почувствовал эту вялую, влажную, зеленоватую руку в своей, я подумал, что я уже ум... в общем, я опомнился, понимаете? И бежал в ужасе. Так же, как бежал от своего старшего брата, когда с ним случился инфаркт, от которого он и... Поверите ли, я улетел в Рио-де-Жанейро через полчаса после того, как мне сообщили о брате. Я выдумал эту поездку, только чтобы не видеть, мне было все равно, полная апатия овладела мной, невестка теперь со мной не разговаривает, презирает меня, но я не могу объяснить ей, в чем дело, она же не поймет... Поверите ли, я приехал в гостиницу, заперся в номере и плакал, плакал. Мы с братом очень любили друг друга.

— Я тоже очень любил своего младшего брата, его сбила машина прямо у ворот клиники.

— Прямо тут, доктор?

— Да, но продолжайте, пожалуйста, продолжайте.

Посетитель сдул пепел с лацкана пиджака. Затушил сигарету. Посмотрел на свои желтые от никотина пальцы.

— Да, собственно, все, доктор. Я больше не могу бегать от нее, да и куда убежишь, если она повсюду. В газетах, на улицах, в телепередачах, на праздниках, на танцах... Она в доме. Во мне самом. Главным образом во мне самом, она моя пленница. Я больше не читаю газет, не хожу в кино, в театр, все вертится вокруг нее, я больше не могу. Единственное, что отвлекало меня от этих мыслей,— это эротические журналы с голыми девчонками, в них не было ни намека на нее, понимаете? В них столько жизни, столько привлекательности, столько желания пользоваться этой привлекательностью. Но вскоре подо всей этой красотой и молодостью я заметил ее зародыш. Сегодня в расцвете, а завтра?

— Платон вспомнил бы аллегория с яблоком. Но продолжайте, сеньор Гутьеррес, продолжайте.

— Однажды я проснулся и почувствовал, что страха нет, он растворился, а казалось, был вечным... и я решил, что освободился, но скоро начал бояться того, что ничего не

боюсь, понимаете? Стало еще хуже из-за того, что на месте страха образовалось пустое место. Тогда я решил попробовать узнать, действительно ли я освободился, я пошел на кл... в место упокоения, прежде меня туда и арканом не затащишь. Я дошел до поворота аллеи и почувствовал, что встречу по... церемонию, вы понимаете, о чем я? Я почувствовал ее запах, обоняние у меня очень тонкое, я издали чую. И этого было достаточно — меня вырвало тут же, за кипарисами. Я выскочил оттуда, обливаясь потом, и пришел в себя только дома. От страха был совсем белый. Или зеленый? — спросил он, натянуто улыбаясь и глядя на свои руки. — В общем, цвета страха. Мой начальник — я государственный служащий — посоветовал мне уйти в отпуск. Если вы больны, пройдите медицинское обследование, а потом попутешествуйте, развейтесь. Он хотел мне добра, мне все хотят добра. Но что я скажу врачам? Если моя болезнь — страх, как я могу сказать им, что болен от страха? У вас все в порядке, скажут они. А какой уж тут порядок! Лучше сойти с ума, как-то ночью я думал об этом — все-таки выход. Но я не сойду с ума, я...

— Вы умрете.

— Не говорите этого, доктор, не говорите, разве вы не видите? — пробормотал он, вытирая платком лоб и подбородок. Потом закурил сигарету и вздохнул: — Я же предупреждал, что все это нелепо и смешно. Когда я ехал сюда, я встретил кортеж, ну, вы понимаете... Достаточно было взглянуть на эти машины, следовавшие за главной, чтобы совсем расклеиться. Я выскочил из такси, пошел другой улицей, но что меня ждало там? Я увидел первую страницу газеты, мальчишка прямо в нос мне ее сунул, но только я свернул в сторону, другой газетчик закричал во весь голос, объявляя трагическую новость: автобус сорвался в пропасть, десятки тяжелораненых... Я зашел в кафе и услышал разговор об одном американском заключенном, который попросил, чтобы его казнили. Похоже, теперь только и говорят об этом? Или и раньше так было, просто я не обращал внимания. Не знаю. Знаю только, что мечтаю уединиться,

спрятаться где-нибудь, где она не имеет такого значения. Но существует ли такое место? Вот монастыри, например. Там тихо, спокойно. Вроде бы там не должны интересоваться нынешней и будущей жизнью, не должны волноваться из-за... тленности этого мира. Но это не так. Они хотят достичь святости путем самоистязания, и об этом напоминают молитвы, песнопения, изображения, даже приветствия, «помни о...». Вы знаете, есть одна община, в которой так и здороваются, только проснутся и сразу: «Помни о...» Не могу я понять, почему нельзя жить беззаботно, если уж живешь.

Максимилиано взглянул на трубку, которую сжимал в ладони.

— Я расскажу вам один случай, сеньор Гутьеррес. Это недолго.

— Меня зовут Фернандес. Самуэл Фернандес.

— Простите. Тот же самый ужас, который вы испытываете перед... неизбежностью, скажем так, мой пациент испытывал перед автомобилем. Перед машиной. Началось у него так же, как у вас,— ему просто не хотелось водить машину, и он продал ее. Он жаловался на уличное движение, на шоферов. Неприязнь к автомобилю у него усиливалась, он стал пугливым и в то же время агрессивным, страх у него так углубился, что он ходил только пешком, не доверял никаким водителям, он избегал улиц с сильным движением, затыкал уши ватой, чтобы не слышать гудков, приходил в ужас, если к нему приближалась машина. Но в нашем городе машин больше чем достаточно, и он постоянно жил в чудовищном страхе. Когда наступали праздники, он, банковский служащий, бежал за город, на берег моря, но машин и там хватало, они вездесущи, как бог. Куда бежать? Он попытался приспособиться, подавить страх. Ничего не вышло. Когда он обратился ко мне, это был труп, простите, он был совершенно изможден. Чуть ли не рыдая, он сказал, что не может больше выносить свою болезнь. Отвращение, которое вы испытываете к понятию, противоположному жизни, он чувствовал к автомобилям,

но запах вы ощущаете при приближении, а он чувствовал запах бензина, масла, гари всегда, даже в запертом шкафу, даже под кроватью. Тогда я велел ему пойти служить на автомобильный завод.

— Автомобильный?

Максимилиано улыбнулся.

— Я вижу, вы удивлены, сеньор Гутьеррес, но ведь давно известно, что подобное лечат подобным. Как лечат от укуса змеи? А что такое гомеопатия? Я прописал ему работу на автомобильном заводе. Пациент, который не мог и близко подойти ни к гаражу, ни к машине, вдруг оказался в самой гуще автомобилей — ему приходилось копаться в деталях, собирать, разбирать, завинчивать гайки, красить, проводить весь день, глядя на машины, слушая их рев. С самого утра он копался в разных моторах, под ногти въелось машинное масло, ни щеткой, ни мылом невозможно было избавиться от этого свидетельства ненавистной работы. Я объяснил ему, что с призраками надо бороться смело, разоблачать их, мой дорогой, а знаете, что значит разоблачать? Снимать облачение! И смотреть им прямо в глаза! В глаза!

Снова зазвонил телефон, на этот раз Максимилиано, предварительно сообщив, что нужного человека нет на месте, сделал какие-то записи. Он повернулся к посетителю, который с нетерпением ждал продолжения разговора, забыв даже затягиваться сигаретой и положив свои беспокойные руки на колени. Максимилиано приветливо и спокойно разглядывал его.

— Он вылечился, доктор?

— Кто?

— Пациент, о котором вы рассказывали.

— О да, абсолютно. Пройдя самую трудную стадию лечения, он начал интересоваться своей новой работой. Он приходил ко мне три раза в неделю. Никогда бы не подумал, что процесс выздоровления может проходить так быстро — через месяц он уже купил машину. И читал автомобильные журналы, принимал участие в подготовке

автомобильной выставки, сотрудничал в журнале «Восемь колес», рассказывал анекдоты о шоферах, в общем, стал настоящим автомобилистом. За это время у него был только один рецидив: как-то раз он с удовольствием смотрел фильм о гонках, но вдруг вскочил, закричал и в ужасе выскочил из зала, его охватил прежний страх, и с такой силой, что я думал, все лечение пойдет насмарку. Однако я ошибся. На следующий день все было в полном порядке. Из автолюбителя он постепенно превращался в фанатичного поклонника машины; ах, как я ее люблю, сказал он мне однажды, поглаживая крыло, словно бедро любовницы. Но его страсть к автомобилю на этом не остановилась, вскоре он сам перевоплотился.

— Не понимаю, доктор.

— Очень просто, Гутьеррес: он превратился в автомобиль, стал автомобилем и однажды утром, выпив голубого бензина, выехал на улицу, подавая сигналы: уу-у! уу-у! Он погиб по вине разини, который ехал по встречной полосе.

— Он умер?

— Да. Теперь вы выговорили это слово совершенно естественно, не правда ли? Вот вам путь к излечению — чтобы победить призраки, надо самому стать призраком.

— Но он же не вылечился, доктор.

Максимилиано нежно дотронулся трубкой до своих улыбающихся губ.

— А что вы называете излечением? Может, вы хотите, чтобы он оставался автомобилем до конца своих дней? Вот вы, например, хотите ли вы жить в таком ужасе до самой смерти? Этого вы хотите? Отвечайте! Хотите страдать от страха, пока не умрете от него?

— Нет, доктор, я хотел бы больше никогда, никогда не испытывать страха.

— Я бы мог порекомендовать вам поработать санитаром в одной из тех больниц, куда пациенты поступают без зеленой веточки в клюве.— Максимилиано улыбнулся, потом деловито взглянул на часы: — Стоило бы вести лечение именно таким образом, больницы — это фабрики по-

койников, те, кто не умирает от той болезни, с которой туда попал, заражаются там какой-нибудь другой, у вас был бы первосортный материал. Но я думаю, вам стоит пропустить эту стадию, не будем тянуть резину, потому что сегодня у нас последняя консультация, другой не будет.

— Последняя?

— Это была бы потеря времени. Зачем идти к цели в обход? В больнице вы бы привыкли — могу я произнести это слово? — к смерти, и до такой степени, что она вам понравилась бы. От роли любителя вы бы перешли к роли почитателя, как тот пациент, который целыми днями возился с машиной. Но на этом вы бы не остановились, вы бы настолько прониклись своей страстью, что решили бы покончить с собой. Лучше это сделать сразу.

— Доктор?!

— Немедленно. Идите и покончите с собой. Это приказ.

Посетитель встал пошатываясь. Он уронил сигарету в пепельницу и стоял бледный, с отвалившейся челюстью, обливаясь потом.

— Вы серьезно, доктор?

— Никогда в жизни не говорил серьезнее. Только смертью можно вылечить страх смерти. Убейте себя. Вы не хотите освободиться от своей мании? Тогда я вам приказываю: идите убейте себя,— сказал Максимилиано, глядя посетителю прямо в глаза.— Идите и немедленно покончите с собой. Для вас это хорошая смерть.

— Но, доктор, подождите!..

Мягко, но уверенно Максимилиано подтолкнул своего пациента к двери.

— Повинуйтесь. Немедленно. Прощайте.

Он остался один. Подошел к окну и через стекло смотрел на своего собеседника, который, покачиваясь, шел по саду, безвольно свесив руки. Он обернулся еще раз, на лице его было мучительное выражение человека, который забыл сказать — или сделать,— но что?

Когда доктор Рамазиан вернулся, Максимилиано стоял у стола с блокнотом в руках. Трубка была выколочена, пепельница вымыта.

— Ну, Макс, иди обедай. Кто звонил?

— Звонила какая-то дама, но имени не назвала. Звонил еще один пациент, профессор Нобрега, сказал, что сможет прийти только в пятницу, о времени он договорится с доной Дорис.

Доктор Рамазиан раскурил трубку, затянулся и сказал:

— Прекрасно. Больше ничего? Ко мне кто-нибудь заходил?

— Сейчас я подумаю,— ответил Максимилиано, наморщив лоб. Потом посмотрел врачу в глаза: — Нет, никто. Никто. Я могу идти?

— Да-да, конечно,— рассеянно сказал врач, глядя на блокнот с записями.— Прекрасно, Макс. Тебе стало намного лучше. Я очень доволен.

— Я тоже.

— Остался последний шаг. Надо закрепить достигнутое, чтобы избежать рецидивов. Тогда ты будешь совсем здоров.

Максимилиано улыбнулся. И тихо, почти шепотом, произнес: «Здоров-то здоров, только кто меня бензином заправит?»

— Что ты сказал?

— Нет, доктор, ничего. Вы правы. Пойти, что ли, пообедать?

Крысиный семинар

*О боже, что за век! —
воскликнули крысы
и принялись грызть здание.*

Карлос Драммонд де Андраде

Начальник отдела общественных отношений, низенький молодой человек с чрезвычайно блестящими глазками, смущенно улыбаясь, поправил узел галстука и постучался к секретарю отдела общественного и личного благосостояния.

— Разрешите, ваше превосходительство?

Секретарь отдела общественного и личного благосостояния поставил на стол стакан с молоком, повернулся во вращающемся кресле и вздохнул. Был он человеком бесцветным и вялым, с влажно отсвечивающей лысиной и мягкими руками. Он бросил внимательный взгляд на свои ноги — правая была обута в туфлю, а левая — в толстый вязаный шлепанец с плюшевой отделкой.

— Войдите, — сказал он начальнику отдела общественных отношений, который уже заглядывал в дверную щель. Его превосходительство скрестил руки на груди: — Так что же, коктейль прошел удачно?

Говорил он спокойно, но словно тихо жалуясь на что-то. Молодой человек выпрямился и слегка покраснел.

— Великолепно, ваше превосходительство, просто великолепно. Устроили его в голубой гостиной, она немного поменьше, как вам известно. Народу было мало, только избранные, очень представительная встреча получилась и в то же время непринужденная, дружеская. Познакомились, выпили и... — он посмотрел на часы, — обратите внимание, ваше превосходительство, сейчас только шесть, а все уже разошлись. Представитель президиума

Крыскомитета размещается в северном крыле, рядом с директором вооруженных и разоруженных консервативных классов, который живет в серых апартаментах. Американскую делегацию я поселил в южном крыле. Я недавно ушел от них — они плескались в бассейне. Вечер просто изумительный, ваше превосходительство, изумительный!

— Вы сказали, что директор вооруженных и разоруженных консервативных классов живет в серых апартаментах. Почему именно в серых?

Молодой человек попросил разрешения присесть. Он взял стул, но поставил его на почтительном расстоянии от подушки, на которой покоилась обутая в шлепанец нога секретаря. Откашлявшись, он объяснил после некоторого замешательства:

— Вуено*, я выбирал цвета в соответствии с характеристиками. — Он оживился: — Американской делегации я предоставил ярко-розовое помещение, они любят яркие цвета. Для вас я выбрал эти комнаты — светло-голубые, ведь я часто видел на вас голубые галстуки. А в северном крыле апартаменты серые. Вам не нравится серый цвет? Он так успокаивающе действует на нервы!

Секретарь с трудом пошевелил лежавшей на подушке ногой. Поднял руку и, глядя на нее, произнес:

— Это их цвет. *Rattus Alexandrius*.

— Консерваторов?

— Нет, крыс. Впрочем, неважно. Продолжайте, пожалуйста. Вы сказали, что американцы в бассейне. Почему американцы? Разве их несколько?

— С делегатом от Массачусетса прибыла секретарша, прелесть что за девушка. И еще блондин в клетчатом костюме. Он похож на боксера, все время молчит и не отходит от них. По-моему, он охранник, но это лишь мое предположение, ваше превосходительство. Не человек, а загадка. Говорят они только по-английски, я воспользовался случаем попрактиковаться. Недавно я закончил курсы английского языка, чтобы в меру сил быть полезным,

* Хорошо (*исп.*).

если переговоры, как и предполагалось, будут вестись на этом языке. Испанским я владею в совершенстве, мне довелось прожить два года в Буэнос-Айресе...

— Он приехал без приглашения...— мягко прервал его секретарь, в голосе его слышалось огорчение.— Крысы наши, и нам разбираться с ними. Незачем посвящать весь мир в наши беды и беспорядки. Мы должны показать себя с лучшей стороны, и не только наше общество, но и наш тесный круг. Нас самих,— добавил он, указывая на свою болезненную ногу.— Почему я до сих пор не выходил? Потому что не хочу, чтобы меня видели нездоровым, с распухшей ногой, хромящим. Завтра, на открытие, я надену туфли, пожертвую собой. Вы, для кого возможно повышение, должны понимать такие вещи. Надо показывать только хорошее, только то, что может нас возвысить в их глазах. А шлепанцы следует прятать.

— Но, ваше превосходительство, этот американец специалист по крысам, в Соединенных Штатах их тоже много. Он может дать нам ценные советы. Кроме того, он специалист по электронной журналистике.

— Тем хуже. Он раззвонит на весь мир,— вздохнул секретарь, пытаясь передвинуть ногу.— Впрочем, неважно. Продолжайте, продолжайте. Расскажите мне об откликах, в прессе разумеется.

Начальник отдела общественных отношений тихонько откашлялся, пробормотал “bueno”, потрогал карман и попросил разрешения закурить.

— Bueno, вашему превосходительству известно, что наибольший интерес вызывает то, почему выбрали для VII семинара по грызунам этот загородный дом, стоящий в полном уединении. Этот вопрос у всех на устах. Второй вопрос: зачем мы потратили столько денег на отделку этого дома, когда могли воспользоваться уже готовыми помещениями? Репортер одной из вечерних газет — я запомнил его в лицо, ваше превосходительство,— нахально ворчал, что, имея в своем распоряжении столько зданий

(впору начинать взрывать их), мы тратим миллионы на восстановление этих руин.

Секретарь вытер лысину платком и устроился поудобнее. Он хотел взмахнуть рукой, но на полдороге остановился.

— Миллионы? Эти черти стоят нам миллиарды! Неужели им не известна статистика? Бьюсь об заклад, он из левых. Или ему нравятся крысы. Впрочем, неважно, продолжайте, пожалуйста.

— Это основные претензии. Да что они понимают, невежды! Ну и, как всегда, не устают повторять, что вот уже седьмой семинар, а толку нет, что со времени первого семинара количество крыс возросло в семь тысяч раз, что у нас теперь сто крыс на душу населения, что в трущобах уже не девицы, а крысы ходят по воду с жестяными банками на голове,— добавил он, пряча улыбку.— Невежды! Им, видите ли, не нравится, что мы собрались в таком уединенном месте, им бы хотелось, чтобы мы находились в гуще событий. Наш пресс-секретарь уже объяснял им очень доходчиво, что семинар — это штаб настоящей битвы! А для того, чтобы обсудить совместные действия, необходимы размышление и ясность духа. Где бы вы могли найти такие условия для работы и чистый воздух? В благодатном уединении, в непосредственной близости к природе... Делегат от Массачусетса в восторге от этой идеи. Он замечательный парень, такой простой. Ему очень понравился наш бассейн с термальными водами. Он был чемпионом по плаванию и теперь в полном восхищении от нашего бассейна! Он мне рассказал очень забавную вещь — оказывается, крысы на Северном полюсе обросли длиннющей шерстью, потому что приспособились к тридцатиградусным морозам, в меха оделись, мошенницы! С таким железным здоровьем они могли бы жить хоть на Марсе!

Секретарь, казалось, не слышал рассказа, задумавшись о чем-то своем. Рассеянно он произнес: «Впрочем» — и поднял палец, призывая собеседника к молчанию. Подозрительно посмотрел на ковер, потом на потолок.

— Что это за шум?

— Шум?

— Разве вы не слышите какой-то странный шум?

Начальник отдела общественных отношений поднял голову, прислушался.

— Я ничего не слышу...

— Теперь стало тише,— сказал секретарь, опуская пухлый палец.— Все, больше не слышно. Неужели вы не заметили? Странный такой шум, сначала под полом, потом на потолке... Не слышали?

Молодой человек широко открыл невинные голубые глаза.

— Совсем ничего не слышал, ваше превосходительство. Здесь, в комнате?

— Или снаружи, я не понял. Словно кто-то...— Он вытащил платок, вытер губы и вздохнул всей грудью.— Меня бы ничуть не удивило, если бы они решили установить тут магнитофон. Помните, этот американский делегат...

— Но, ваше превосходительство, он гость директора вооруженных и разоруженных консервативных классов!

— Я никому не доверяю. Почти никому,— поправился секретарь шепотом. Он устремил подозрительный взгляд на стол, на голубой балдахин над кроватью.— Где эти люди, там и эти чертовы магнитофоны. Впрочем, неважно, продолжайте, пожалуйста, продолжайте. А что пресс-секретарь?

— Виено, вчера у него приключилась небольшая авария. Вы же знаете, ваше превосходительство, какое у нас движение! Теперь рука у него в гипсе, он сможет прибыть только завтра. Я уже заказал реактивный самолет,— энергично добавил молодой человек.— С тыла его будет прикрывать вооруженный отряд. Пресс-секретарь будет давать информацию по телефону до самого закрытия, когда на специальном самолете прилетят фотографы, иностранные корреспонденты, проклятые телевизионщики. В общем, будет большой съезд. *Finis coronat opus* — конец — делу венец.

— Но начало плохое, ему бы следовало уже быть здесь,— расстроился секретарь. Он взял стакан с молоком, сделал глоток и с недовольным выражением лица сказал: — Меня очень беспокоит, что мы останемся без газет. Не знаю, чем обернется идея представителя Крыскомитета отстранить журналистов. Не знаю, не знаю.

— Извините меня, ваше превосходительство, но мне кажется, недоступность повышает авторитет. Известно, что некоторое расстояние, таинственность волнуют массы больше, чем ежедневный контакт через прессу. Мы будем давать скудную информацию до самого закрытия, когда в бой вступят наши основные силы! Разве плохая тактика?

Дрожащими пальцами секретарь потеревил пуговицы жилета. Скрестил руки и стал разглядывать свои отполированные ногти.

— Хорошая тактика, молодой человек,— это влиять на средства информации от начала и до конца. Такова цель. А этот пресс-секретарь со сломанной ногой все испортил.

— Рукой, ваше превосходительство, точнее, предплечьем.

Секретарь с трудом повернулся вправо, потом влево. Нахмурился. Пошевелил пальцами. Посмотрел на покоящуюся на подушке ногу.

— Сегодня же позвоните ему и скажите, со стратегической точки зрения крысы находятся под контролем. Никаких деталей. Только подчеркните, что крысы находятся под полным контролем. Соединяют долго?

— Вуено, около получаса. Заказать сейчас, ваше превосходительство?

Секретарь поднял палец, приоткрыл рот. Повернул кресло к окну. Потом медленно обернулся к камину.

— Вы слышите? Слышите? Сейчас еще громче.

Молодой человек приставил ладонь к уху. Он так старательно прислушивался, что у него покраснел лоб. Он встал и на цыпочках подошел к камину.

— Здесь, ваше превосходительство? Я ничего не слышу.

— Шумит, словно море. То громче, то тише, волнами...

Словно где-то рядом дышит вулкан... А в то же время очень далеко. Стихает...— В изнеможении он откинулся на спинку кресла. Вытер вспотевший подбородок.— А вы так ничего и не слышали?

Начальник отдела общественных отношений в недоумении поднял брови. Заглянул в камин. За кресло. Поднял штору и посмотрел в окно.

— На газоне двое служащих. Шоферы, кажется... Эй, вы, там! — крикнул он, помахав рукой, и закрыл окно.— Ушли. Мне показалось, они возбуждены, может быть, ссорились. Но думаю, они тут ни при чем. А я ничем не могу быть полезен, ваше превосходительство. Я плохо слышу на это ухо... Sorry*...

— А я слышу очень хорошо, у меня, наверное, обостренный слух. Когда начинались революции в тридцать втором и шестьдесят четвертом годах, я всегда первым чувствовал неладное. Первым! Помню, как однажды вечером я сказал своим друзьям: враг близко, а они подняли меня на смех: глупости, ты перебрал... В тот вечер мы пили чудесное вино. Но когда стали выходить, оказалось, что мы окружены.

Начальник отдела общественных отношений подозрительно взглянул на бронзовую статуэтку, стоявшую на камине. Она изображала пышную даму с повязкой на глазах, с мечом и весами. Он протянул руку к весам. Провел пальцем по пыльным чашкам. Поглядел на палец и потихоньку вытер его о спинку кресла.

— Ваше превосходительство, мне провести проверку? Секретарь с болезненной гримасой вытянул ногу. Вздохнул.

— Впрочем, неважно. Когда у меня приступ, я слышу, как чиркают спичкой в дальнем зале.

Молодой человек робко, с сочувствием показал на ногу:

— Это серьезно?

— Подагра.

— Болит, ваше превосходительство?

* Извините (англ.).

— Очень.

— Под Аккрой, под Аккрой...— пропел молодой человек, широко улыбаясь, и замер в полном молчании, исполнив свой музыкальный номер. Потом откашлялся и поправил галстук.— Виено, есть такая песенка, ее распевает народ.

— Народ, народ,— со стоном в голосе повторил секретарь отдела общественного и личного благосостояния, скрестив руки на груди.— Говорят: народ, народ, а ведь это чистая абстракция.

— Абстракция, ваше превосходительство?

— Которая становится действительностью, когда крысы выгоняют обитателей трущоб из их жилищ. Или отгрызают сельским детям ноги. Тогда народ появляется на страницах левой печати. Желтой прессы. И все это чистой воды демагогия. Прямая связь с бомбами экстремистов, будь они неладны, эти выродки, сами они крысы,— вздохнул секретарь, медленно перебирая пуговицы на жилете. Нижнюю он расстегнул.— В Древнем Египте эту проблему решали с помощью кошек. Не понимаю, почему бы и нам не обойтись частной инициативой. Если бы каждая семья держала одну-двух прожорливых кошек...

— Но, ваше превосходительство, в городе не осталось ни одной кошки. Население их поело уже давно. Я слышал, что из кошек получается великолепный суп! Впрочем...— рука секретаря повисла в воздухе,— уже темнеет, не правда ли?

Молодой человек зажег свет. Глаза его смеялись.

— А ночью все кошки серы! — Потом добавил серьезно: — Семь часов, ваше превосходительство. В восемь — ужин, стол будет украшен только орхидеями и фруктами, изысканный местный колорит. Красота! Я велел привезти с Севера великолепные ананасы. И лангусты. Шеф-повар в полном восторге — таких крупных лангустов он в жизни не видывал! Виено, я хотел заказать какое-нибудь местное хорошее вино, но засомневался: а вдруг от него будет болеть голова? Подумайте только, ваше превосходительство,

ведь и такое может быть. Я счел более благоразумным заказать чилийское.

— С каких виноградников?

— Конечно Пиночета.

Секретарь отдела общественного и личного благосостояния печально посмотрел на свою ногу.

— Мне бульон без соли и жидкую кашку. Попозже, может быть...— Он умолк. На лице его отразилось изумление.— А теперь вы слышали? Громко же, очень громко! Слышали?

Начальник отдела общественных отношений вскочил на ноги. Прижал руки к покрасневшим щекам.

— Да, да, ваше превосходительство! Это из-под пола, пол трясется! Что это?

— Я же говорил, я же говорил! — Секретарь, казалось, был счастлив.— Я никогда не ошибаюсь, никогда! Я уже несколько часов слышу это, но не хотел говорить, вы бы подумали, что у меня галлюцинации. Мы как будто на вулкане, и сейчас начнется извержение.

— На вулкане?

— Или на бомбе, есть такие бомбы, которые перед тем, как взорваться, издают подобные звуки!

— О боже! — воскликнул молодой человек и кинулся к двери.— Я сейчас все выясню. Не беспокойтесь, ваше превосходительство, все будет в порядке. Я скоро вернусь. Боже мой, вулкан!..

Когда он закрывал за собой дверь, открылась дверь напротив, и показалось улыбающееся личико. Белокурые волосы были стянуты на затылке желтым бантом.

— What is that?*

— Perhaps nothing, perhaps something,— ответил он, машинально улыбаясь, и помахал ей дрожащей рукой: — Supper at eight, Miss Gloria**.

И заторопился, заметив в коридоре директора воору-

* — Что это?

** — Возможно, ничего, а может, что-то... Ужин в восемь, мисс Глория (англ.).

женных и разоруженных консервативных классов в зеленом бархатном халате. Молодой человек склонил голову, посторонился, давая дорогу, сказал «ваше превосходительство» и хотел идти дальше, но проход загородила зеленая бархатная гора:

— Что за шум?

— Виено, я не знаю, ваше превосходительство, как раз иду разузнать, сейчас вернусь. Непонятно, что это такое. И так громко!

Директор вооруженных и разоруженных консервативных классов понюхал воздух:

— А запах? Шум стих, но запах откуда? — Он нахмурился: — Безобразие! Запах, шум... И телефон не работает, почему не работает телефон? Мне надо срочно позвонить в Президиум, а телефон молчит!

— Молчит? Но я сегодня звонил раз десять... В Голубом салоне пробовали, ваше превосходительство?

— Я оттуда и иду, там тоже молчит. Безобразие! Найдите моего шофера, пусть посмотрит, работает ли телефон в моей машине, мне срочно надо позвонить.

— Не волнуйтесь, ваше превосходительство, я приму меры и сейчас же вернусь. А теперь пойду, с вашего разрешения.— Молодой человек поклонился и направился к лестнице. На первой ступеньке остановился: — Но что это значит? Кто мне скажет, что это значит?

По вестибюлю, задыхаясь, бежал шеф-повар без колпака, в рваном фартуке. Молодой человек сердито взмахнул рукой и поспешил ему навстречу.

— Почему вы здесь и в таком виде?

Повар обтер фартуком испачканные в томатном соке руки.

— Ужас! Страх-то какой!

— Не кричите, зачем кричать, успокойтесь.— Молодой человек взял повара за руку и увлек в угол.— Держите себя в руках. Что случилось? Но кричать не надо, истерик я не потерплю. Так что же случилось?

— Они съели все — лангустов, кур, бататы! Все под-

чистую! В кастрюле не осталось ни зернышка риса! Они все съели, а что не успели, унесли с собой.

— Но кто «они»? Кто съел все?

— Крысы, доктор, крысы!

— Крысы? Какие крысы?

Шеф-повар сорвал с себя фартук, скомкал его.

— Я ухожу, я не останусь здесь ни минуты, по-моему, мы оказались прямо в ихнем царстве, клянусь своей матерью, я чуть не умер со страха, когда эта туча полезла в окна, в двери, через потолок. Спасибо, хоть нас с Эуклидией не тронули! Даже салфетки сожрали, только в холодильник не влезли — он был закрыт. Но в кухне пусто, шаром покати!

— Они все еще там?

— Нет, ушли, как пришли, визжат, точно сумасшедшие, я уже раньше слышал шум, мне показалось, вода шумит под полом, потом как стукнет, как завоет... Эуклидия сбивала майонез, и когда началась тряска, она решила, что это привидения... Тут они и полезли, в окна, в двери, куда ни глянь — всюду крысы, и вот такущие! Эуклидия вскочила на плиту, я на стол, хотел вырвать курицу, которую одна тварь прямо у меня из-под носа выхватила, швырнул в нее банку с томатным соком, а она... Она бросила курицу, встала на задние лапы и пошла на меня. Это был человек, переодетый крысой, клянусь матерью, человек!

— Боже мой, что же это такое?.. А как с ужином?

— С ужином? Вы говорите «ужин»? Луковицы, и той не осталось! Одна из этих гадин перевернула кастрюлю с лангустами, бульон разлился... как они накинудись! Одного не пойму: почему они не сварились заживо в кипящем бульоне? Святой истинный крест, так и было! Все, я ухожу!

— Подождите, успокойтесь! А прислуга? Прислуга знает?

— Прислуга, доктор? Прислуга? Все убежали, дураков нет. На вашем месте я бы сам всех отослал отсюда. Я здесь не останусь, хоть убейте!

— Минутку, подождите! Поймите, нельзя терять голову.

Возвращайтесь в кухню, откройте консервы, консервы, наверное, остались? И холодильник был закрыт, значит, там что-то есть. Приготовьте ужин как сможете, ясно?

— Ну нет! Хоть убейте, не останусь!

— Слушайте, что вам говорят: идите на кухню и выполните свой долг. Главное, чтобы гости ни о чем не узнали, я отвечаю за это, понятно вам? Я сейчас еду в город, привезу продукты и вооруженных до зубов охранников, и ни одна мышь сюда не проскользнет!

— А как вы собираетесь добираться до города? Разве что пешком...

Начальник отдела общественных отношений выпрямился и побагровел от ярости. Он зажмурился, сжал кулаки и уже хотел было стукнуть по стене, но сдержался, услышав голоса на втором этаже, и прошипел сквозь зубы:

— Труссы, сволочи! Вы говорите, прислуга не оставила ни одной машины? Да? Они забрали все машины?

— Ничего они не забрали, на своих двоих убежали — все машины испорчены, Хосе каждую испробовал. Крысы съели проводку! Оставайтесь здесь, если хотите, а я пошел!

Молодой человек прислонился к стене. Сейчас он был мертвенно-бледен. «Значит, и телефон...» — прошептал он, вперив застывший взгляд в фартук, брошенный поваром на ковре. На втором этаже голосов прибавилось. Хлопнула дверь. Он забился в угол, но услышал крики — звали его. Молча следил он за шлепанцем с плюшевой отделкой, который промелькнул в двух шагах от скомканного фартука, шлепанец скользил подошвой вверх, и очень быстро, словно ехал на колесиках или его кто-то тянул за невидимую веревочку. Это было последнее, что он видел. В эту минуту дом содрогнулся до самого основания. Погас свет. И началось нашествие... Точно кто-то высыпал над крышей мешок огромных камней, и теперь они обрушились вниз густой массой тел, визга и блестящих черных глазок. Когда из его брюк вырвали клоч, он побежал по шевелящемуся полу, влетел в кухню вместе с сыпавшимися ему на голову крысами и открыл холодильник. Выхватил из него полки,

нашарив их в темноте, выкинул консервные банки, стукнул бутылкой по голове с черными глазками, которая мелькнула в ящике для овощей, вышвырнул крысу и вскочил внутрь. Он закрыл дверцу, но чтобы холодильник не захлопнулся, подставил палец. Почувствовав первый укус, он заменил палец галстуком.

Во время подробного расследования, которое велось с целью выяснить все обстоятельства того вечера, начальник отдела общественных отношений никак не мог вспомнить, сколько времени он просидел в холодильнике, где на голову ему капала ледяная вода, где он был вынужден сидеть свернувшись в комочек, а руки сводило судорогой, открытым ртом он прижимался к узкой щели, в которую то и дело заглядывали крысиные морды. Помнил он только, что во всем доме тишина наступила внезапно — ни звука, ни шевеления, ничего. Он приоткрыл дверцу холодильника, выглянул наружу. В опустошенную кухню пробивался узкий лунный луч. Он прошелся по дому, в котором не оставалось ничего — ни мебели, ни занавесей, ни ковров. Только голые стены. И тьма. Вдруг он услышал таинственный, приглушенный шепот, казалось, он доносился из конференц-зала. Тогда ему стало ясно, что все они собрались там, за закрытыми дверями. Как он выбрался в поле, он не помнил, не помнил, как бежал, а пробежал он много километров. Уже издали он посмотрел назад и увидел ярко освещенный дом.

Эмануэл

— Эмануэл,— отвечаю я и больше не говорю ни слова. Потому что мне все равно никто не верит; никто не верит, что у меня есть любовник, что у него зеленые глаза, белый «мерседес» и что его зовут...

— Эмануэл,— повторяет Афонсо.— У меня был один знакомый с таким именем, но он, кажется, умер. Так ты говоришь, он приедет за тобой?

Лорис пытается разлить виски по рюмкам, но виски не льется, она трясет бутылку, а сама от смеха трясется еще больше:

— Приедет на белом «мерседес-бенце», какая прелесть! Расскажи, Алис, расскажи еще, мы жаждем узнать подробности!

Я хочу достать пепельницу в центре ковра, но она стоит слишком далеко, и мне приходится вытянуться на подушке. Движение могло бы быть гибким и грациозным, но у меня оно скованно и неуклюже, и голос мой звучит фальшиво, и вообще все они здесь расположились весьма непринужденно, и только я скована, как факир на гвоздях. Рядом в ящике шевелятся змеи.

— Однажды я нечаянно схватила змею. Нет, она была не скользкая, только холодная,— говорю я, и никому вокруг не интересно, что я почувствовала, дотронувшись до змеи.— Налей мне коньяку, если можно.

Афонсо пододвигает ближе тележку с напитками. Он улыбается: «Я тут вспомнил один анекдот». Но мне ясно, что не анекдот его развеселил, а я. Он галантно подает мне рюмку:

© 1981, Editora Nova Fronteira.

— Прошу.

Циник несчастный. Развлекается на полную катушку. Ни он, ни Лорис, ни Соланж — никто не поверил. В эту мою историю с любовником. А почему, собственно? Почему они не верят? Я что, внушаю всем ужас или отвращение? Может, мне ответят наконец? Что я сказала? Что мужчина с зелеными глазами приедет за мной на белом «мерседесе». Так Лорис аж поперхнулась своим виски. И Афонсо, этот циник, не лучше. Даже этот дурачок с гвоздикой в петлице туда же, сидит подмигивает, в первый раз меня видит и тоже им подпевает, пигмей. Кретин, идиот, пигмей несчастный! Я делаю большой глоток и перевожу дыхание. Надо успокоиться. Нет, нет, все не так плохо, я, конечно, перегнула палку, чистая истерика, этот мужичок с гвоздикой вообще на меня внимания не обращает, вечная моя мания преследования, сама, сама виновата, нечего было так распалиться! Малость перестаралась, могла бы просто сказать, что есть любовник, и все, обычный человек, ничего особенного. Так нет, понесло, влезла со своим бредом, красивой жизни захотелось, власти. Моя неистребимая потребность привлечь к себе внимание, блистать, смешанная с острым желанием взять реванш за все. Лорис, с ужасом глядящая на меня, и я, в полном самозабвении, — это уже не слова, это смерч, водопад, лавина слов, целый оркестр, Вагнер, да и только! Несуразная. Никогда не могла толком понять, что значит это слово. Но, должно быть, что-то смешное. У меня же никогда ничего не было — ни семьи, ни приличной работы, ни радостей, которые купишь только за деньги. О боже, мои деньги! На них даже завалищего кота не купишь, чтобы таскать за хвост. Хотя стоп, кот, кажется, есть. Я делаю второй глоток и окончательно успокаиваюсь. Уличный, правда, кот, но ведь кот. Эмануэл. Вот откуда имя, которое я дала своему возлюбленному и которое так неожиданно слетело с моих губ. Эмануэл.

— Ну что же, тем лучше, тебе вообще, я думаю, пора завести романчик, твоя затянувшаяся девственность начинает уже всех беспокоить, это просто ужас какой-то.

И к тому же такой красавчик,— говорит Соланж, играя мундштуком с сигаретой.

Интересно, эта сальная улыбочка предназначена Афонсо или Лорис? Кончиком мундштука Соланж проводит по краю губ, фигура у нее хорошая, а рот слишком большой, вульгарный — нет, неправда! Боже, я, наверное, позеленела от зависти, у нее очаровательный рот, мне бы такой. Мне бы такой.

— А ты знаешь, что значит Эмануэл? Это тот, кто должен прийти,— говорит Лорис, помешав пальцем лед в бокале и затем не спеша обсосав мокрый палец.

Я зажимаю большой палец в кулаке — теперь я вспомнила, что мне приснилось накануне: какой-то голос шептал, что он хочет мой рот, мои губы! Я приоткрываю рот, и голос становится глуше, таинственней — ему нужны другие губы, молчащие. Я выпиваю до дна свой бокал. Сквозь стекло вижу глаза Лорис, обведенные темными кругами. Они не отрываются от меня и кажутся далекими, когда она пьет, но она близко и все слышит. Она все понимает. Ей ясно, что я вру почему зря, и она становится жестокой, она, у которой нет никакой необходимости быть жестокой.

— Афонсо, ты смеешься без передышки, может, скажешь, над чем?

Она знает, что надо мной,— сорокалетняя дура со своими бреднями, мечтающая о мужчинах, которые просят у нее губы, нет, не эти губы, другие! Чертов сон. Чертова жизнь. Остается только повторять, что он приедет за мной, этот Эмануэл со своими зелеными глазами и «мерседесом». Белым? Да, белым. Прелестно, как сказала Лорис. Продолжать это бессмысленное вранье, пока моя вытянутая физиономия не вытянется еще больше, у деревянного человечка был нос, который рос,— о господи, тошнит от этой унылой монашеской рожи. Слишком поздно, чтобы начинать, и с кем начинать? Женщин вокруг — только бери, молодые, старые, девочки двенадцати с половиной лет, а мужчины — пресыщенные, уставшие. Лорис все это знает, с кем она только не спала, где только не бывала! А я даже

из собственного квартала не выезжала ни разу. Два-три поклонника, не проявлявших особой настойчивости, ни малейшего желания углубить отношения, да и вообще, где те времена, когда девственность ценилась? Равнодушный взгляд, тоскливая лень во всех движениях, так что Алисочка хочет сказать?.. Алисочка. Когда меня называют Алисочкой, я уже точно знаю, что ничего не будет,— друг, сестра и не более. Если бы, по крайней мере, не все эти первоначальные осложнения, деликатные подробности, некоторая необходимость, так сказать, приложить старание. Больше всего они боятся влезть в историю, связать себя чем-то. И вот я изображаю спокойствие, когда мне хочется орать, рвать на себе волосы от злости на самое себя: дура, кретинка, лучше быть уродиной, чем такой серой, ни рыба ни мясо. Мне бы деньги, о, с деньгами я бы показала: священная корова, оплачивающая свою свиту и Эмануэла в придачу, а почему нет? Хочешь «мерседес»? А самолет хочешь? А пароход? Что еще хочешь? Мой блистательный мужчина, покрытый позолотой, приказывай, любовь моя, хочешь, я сварю тебе обед? Начищу ботинки? Все что хочешь сделаю, я ведь существо низшего порядка, слабое, зависимое, пусть приходят феминистки и с презрением плюют в мою сторону, да плюйте сколько влезет! Идиотки, сунувшиеся в стан сильных, засучившие рукава и оскалившие зубы, боже, какая самонадеянность!

— У меня была эта картина,— продолжает Соланж, и я не могу понять, о какой картине идет речь. Я не отрываясь смотрю на золотую цепочку, охватившую ее щиколотку,— ноги у Соланж потрясающие.

Я быстро поджимаю свои. Я обычно так сплю. А утром начинаю с особой тщательностью чистить зубы. Мои хилые зубы. И моя надежда, что когда-нибудь наступит день. Надежда на крем от веснушек, на яйцо для жидких волос, на витамины. Ах, как хочется надеяться! «Крылья надежды»,— сказал кто-то. Мне бы сидеть в своем болоте и не рыпаться, но когда я прихожу в себя, оказывается, что я уже лезу, лезу в гору, задыхаясь и сдирая ногти. Что это,

гордость? А может, надежда — это и есть гордость?

— А чем он занимается, твой возлюбленный? — спрашивает Лорис, откусывая сэндвич.

— Он врач.

Так и хочется сказать: гинеколог. Чего мне всегда хотелось, так это иметь любовника-врача. Чтобы он взял меня в свои опытные руки и рассказал мне обо мне самой, сначала хотя бы о моем теле, которое сейчас ведет себя как мой злейший враг. Чтобы я поняла наконец, что она такое, моя оболочка, когда его руки пройдут по ней уверенно и нежно. Пусть он, уже узнавший столько других благодаря своей профессии и независимо от нее, пусть он примет меня, ибо время любви пришло! Тысяча извинений за затянувшуюся девственность, это не от ханжества, я-то знаю! Я бы согласилась и на молочника, и на булочника, что разносили по домам молоко и хлеб, но уже сто лет никто не носит по домам ни хлеба, ни молока. Мама открывала дверь, и запах горячего золотистого хлеба ударял в нос, иди сюда, детка, выбери себе кренделек — других радостей ее работа ей не принесла. Да, я сохранила себя до сих пор. И никогда раньше? Никогда. Это просто, Алис, он произносит: Алиис. Просто, как стакан воды, не зажимайся так, ты слишком напряжена, расслабься, что у тебя шея будто каменная, и не сжимай так зубы, а то доктор не сможет вырвать тебе зубик! Отец крепко берет меня за руку: идем, дочка, больно не будет... Я тихонько промокаю глаза салфеткой.

— Нет, я просто умираю от любопытства, в котором часу он должен прийти? — спрашивает Лорис.

Мои ногти впиваются в салфетку.

— Не знаю, придет ли он, у него сегодня дежурство, он уже предупредил меня, что сегодня вряд ли увидимся, у врачей всегда сложности с расписанием.

— И не говори.

Я откусываю горячий пирожок, вдыхаю ароматный пар от начинки. Превратиться бы сейчас в маленького муравьишку и исчезнуть в этом вулкане. Лорис уже все поняла,

остальные еще сомневаются, но остальным наплевать, а ей нет. Я еще больше поджимаю ноги; куда бы убрать эти огромные ступни? Теперь Лорис интересуется, живу ли я все там же. Отвечаю, что да.

— Одна?

— С моим котом.

— Так он не свободен?

— Более или менее.

— Более или менее — это как?

Мне становится смешно, и я с удовольствием смеюсь, вспоминаю, что Эмануэл уже несколько раз пытался удрать, пока я не огородила сад, и теперь он возлежит, как сфинкс, на узком газоне и не отрываясь смотрит на калитку.

— Разумеется, у него есть жена. Но практически он всегда может улизнуть.

Пожалуй, в первый раз за всю вечеринку я чувствую, как у меня поднимается настроение, мне нравится эта двусмысленность, игра словами, быть самой собой так, в сущности, трудно. И так легко.

— Ах, так он женат?

Афонсо роется в пластинках — он ищет джаз, Соланж сообщает, что ей надо в туалет, а человечек с гвоздикой записывает телефон некоей молодой художницы, которая не то чтобы красива, но сумела так ловко наставить рога одному типу, что посрамила бы, пожалуй, саму Венеру, если бы та на своей раковине бросила якорь у наших берегов. В сущности, она делает то, что давно следовало бы делать мне: извлекает выгоду из своей некрасивости, обратив ее в вызов, я могла бы, например, одеваться на египетский манер, а что? Черт с ними, с моими волосами, моим ртом, но стиль, экстравагантность, этого мне как раз и не хватает. Пусть обо мне говорят, пусть меня обсуждают. Я оборачиваюсь к Лорис, она пьяна и вся сияет, нет, так просто она меня не оставит, итак, что же Эмануэл?.. А я уже закусил удила и не способна остановиться, никто мне не верит, да и наплевать всем на это, но Лорис уже зацепила меня на крючок и тянет, как опытный рыбак глупую рыбешку.

Я беспомощно болтаюсь на конце лески, а та натянута до предела и становится все короче и короче. Я не сопротивляюсь, и теперь Лорис хочет... но чего же она теперь хочет?

— Особенно нечего рассказывать, Лорис. Я нашла его на улице.

— На улице?

— Он казался таким одиноким, таким несчастным.

Точнее, это было на углу. Что-то я слишком волнуюсь, это, наверное, от коньяка, эх, сюда бы тот поднос со сладостями, я бы быстренько их умяла, хочется сахара, шоколада, какой-нибудь смышленный психоаналитик сразу бы объяснил, в чем тут дело, — нехватка любви. Мой отец приносил мне целую кружку горячего шоколада и терпеливо ждал, пока я не выпью все до капельки, он бы тоже мог до капли выпить свою жизнь, если бы не случилось это, — эх, папуля! — нет, не хочу я воспоминаний, то ли дело психоаналитики, для них все — нехватка любви, мой братец в восемь лет подвешивал за хвосты котов, целая гирлянда воющих и бьющихся в судорогах котов, это что, тоже от нехватки? Тогда как раз было холодно, и он так дрожал и мяукал! Я сунула его в карман пальто, грязный, драный котенок с большой головой, болтающейся на тонкой шее. Эмануэл, позвала я. Он мяукнул и ткнулся мордочкой мне в ладонь.

Теперь у меня есть кот, подумала я. Ну а как насчет греческой туники? Туника — это, пожалуй, идея, золотая кайма, сандалии со шнуровкой до колен, и вот Алис уже выступает гречанкой, похоже, она совсем рехнулась. Точно, я сумасшедшая, а что, сумасшествие было бы неплохим выходом, только тогда уж хотелось бы чего-нибудь более утонченного, безумия с прозрениями и озарениями. Я способна на озарения? Соланж поднимает ногу, так что юбка задирается до самого бедра, мужчина с заячьей губой пытается расстегнуть браслет на ее щиколотке, интересно, как бы выглядели эти золотые нити на моих бесформенных, как макароны, ногах? Лорис на четвереньках проползает под ногой Соланж — ей нужно блюдо с пирожками. Она

возвращается и, прищурившись, смотрит на меня. Мы начинаем жадно есть. Я чувствую нестерпимую потребность говорить.

— Он очень любит музыку, когда играют Моцарта, сидит не шелохнувшись.

— Очаровательно.

— Иногда он ложится на подушку и часами неподвижно лежит и слушает. И его зеленые глаза тогда блестят. Когда я гашу свет и ложусь с ним рядом, глаза у него блестят еще больше.

— Вы предпочитаете пол?

— Ну, или на постели. Иногда ночью я просыпаюсь и вижу, что он уже перебрался на кровать, и тогда мы делим с ним одну подушку. Но что это — кажется, дождь?

— Гроза.

— Мне пора, Лорис.

— Как это пора?! Нет, вы только посмотрите,— начала она и замолчала: похоже, звонок? Кажется, прозвенел звонок? — Но я ведь никого не жду! Значит, это он, больше никому!

На коленях я отползаю в самое темное место, куда мне спрятать мое побелевшее, мокрое от холодного пота лицо? Нет, Лорис, это невозможно, у него сегодня дежурство, как можно бросить дежурство! Но она уже закрутила леску до конца и теперь тянет за крючок, нет, что это такое? Явился возлюбленный Алис, а все сидят, будто ничего не случилось. «Это ведь он пришел, кто же еще? Больше никому!»

Снова звенит звонок, теперь громче, внутри у меня все дрожит, этот пронзительный звук отдается в голове, как звон цикады; о боже, дождь все так же шумит, и торжествующая Лорис балансирует на качающейся своей лодке. Я с трудом проглатываю слюну, от страха она выделяется у меня без конца, и снова хочу сказать, что этого не может быть, но чувствую, как крючок впивается все глубже. Я слышу свой шепот: у него дежурство в больнице, Лорис, это невозможно. Невозможно.

— Афонсо, дорогой, сходи открой дверь.

Я опускаю голову. Вот я и уступила без малейшего сопротивления. Еще немного, и я бы созналась, что это была всего лишь шутка, ты же знаешь, что у меня никого нет, только кот, кот Эмануэл! Не надо ей было этого делать, не надо. Я прижимаю к губам пустой бокал, внутри пустота, а вокруг все говорят одновременно, шум грозы мешается с шумом голосов, окно распахивается, и штора сбивает бутылки, похоже, я оживила праздник, и теперь он закружился в порыве ветра, влетевшего в открытое окно вместе с голосом Афонсо, перекрикивающим шум дождя и слегка задыхающимся,— он поднимался по лестнице бегом:

— Там внизу Эмануэл приехал за тобой.

Черные «классики»

— Ве-е-ера! Иди играть!

В сумерках голос тянулся, как длинные нити миндального теста, когда его вынимают из кипящей кастрюли и выкладывают на мраморную доску, желтую от сливочного масла, а потом берут масляными пальцами, блестящими, как полированный мрамор. Тягучее тесто истончается, вытягивается на длину руки, белеет... Его шелковистая нить возвращается на место, и вскоре — о боже! — нежная масса застывает, превращаясь в камень. Засахарилось? Тогда моя мать, твердая, как миндальное пирожное, выпрямлялась и глубоко вздыхала. И начинала все сначала. Кипит кастрюля, на мраморной доске подготовлено место, куда в нужную минуту желтые от масла пальцы выложат обжигающую массу, ногти и кончики пальцев покраснеют от работы, которая заставила бы любого из нас вопить от боли... Скорее, скорее, а то тесто засахарится!

Пока еще не засахарилось. Тягучий голос был нежен и тонок, как нити теста. Я хватала с гвоздя ключ от ворот нашего дома, черных ворот, увенчанных большими железными розетками. По дороге я находила кусок угля и подбирала камень, вытянутый и плоский, чтобы не катался. Теперь у меня было все необходимое. Калина уже ждала меня на тротуаре. Была она не черная и не светлая, не красавица и не дурнушка. Казалось, что мелких, неровных зубов слишком много для ее рта. Она старалась прикрыть их, и потому ее короткая верхняя губа вечно морщилась. Я помню ее глаза с большими черными зрачками, неподвижными, как у коров, — внимательными, но в себя не пропускающими.

— Во что будем играть? — спрашивала я.

Вопрос был чисто риторический — ведь если в руках у меня был кусок угля и камень, значит, мы играем в «классики». Она становилась на колени, закидывала косы за спину и принималась чертить на тротуаре. Чертила она быстро и уверенно. Опытной рукой выводила два параллельных ряда квадратов, а затем писала цифры, от одного до десяти, слишком большие для этих «классов», неровных, как ее зубки. К последним клеткам она пририсовывала царственные диадемы «ада» и «рая», а в середине обозначала «чистилище» — тот, кому удавалось дойти до этого места, прыгая на одной ножке и перебрасывая камешек из «класса» в «класс», мог там отдохнуть. Ошибок допускать было нельзя — если камешек или нога попадет на черту, приходилось все начинать сначала. Эта игра была похожа на приготовление миндальных шариков, она требовала терпения, и не только терпения, но и интуиции. Странно, не правда ли? Мне необходима была стойкость победителя. А это значило быть скромной и настойчивой. Ни робость, ни самонадеянность тут ни к чему — самоуверенность отнимает чувство меры, слушать подбадривающие похвалы тоже опасно — теряешь осторожность... И вот пожалуйста! О Калина! Я впала в ярость, рассмеялась и тут же заплакала. Паника охватила меня, я потеряла хладнокровие, не рассчитала, и камешек полетел через все «классы», промчался через «ад» и «рай» — я проиграла. Может, эта игра называется «классики» оттого, что я так же бешусь из-за двоек в классе? Но она же существовала задолго до меня, другие девочки играли с какой-нибудь другой Калиной, сосредоточенной и невозмутимой. Она тоже чертила «классы», потом обхватывала себя руками, становилась в сторонке и спокойно, без жалости и без иронии, поднимала свою губку: «Давай, Вера, начинай!»

Я покорялась. У нас были свои правила этой игры, не такие, как у наших подруг по кварталу. И выигрыши были другие. Только полукружия «ада» и «рая» не менялись, но черти и ангелы не сидели тихо где им положено, они

вихрем кружились в самых неожиданных местах. Иногда меня охватывало безразличие. Но вдруг в груди пожаром занималось почти невыносимое возбуждение, глаза горели, руки холодели. Совершенно запыхавшись, добиралась я до «ада» или «рая», что в некотором роде одно и то же. Только «чистилице» давало передышку. «Погоди немного», — просила я. Калина не торопила меня, но мне было известно, что, если я слишком затяну отдых, я потеряю очки, которые она держала в памяти, а память у нее была изумительная.

И еще одна особенность нашей игры: пока я прыгала, она не говорила мне, выигрываю я или проигрываю, и я не знала, что происходит. Я радовалась, огорчалась, гордилась собой, но если бы меня тогда спросили, счастлива ли я, я бы не знала, что ответить. Напрасно я смотрела на Калину, на ее короткую губку, которая не выражала ни одобрения, ни порицания, на ее черные зрачки — с покорностью судьбе ждала она своей очереди. Напрасно мама выглядывала из окна и говорила, чтобы я была поаккуратней, чтобы не испачкала углем передник, чтобы берегла руки — мелкая угольная пыль так и въедается в кожу, под ногти. О мама, разве можно играть так, чтобы руки всегда были чистыми?

У меня были любимые числа, а были и такие, которых я боялась. Кто же мне сказал, что шесть — чертова цифра? Я спросила у Калины, почему так говорят. Она жевала сладкий батат: «Если перевернуть шесть вверх ногами, будет девять». Тогда я поинтересовалась: «А девять — божья цифра?» — но она пожала плечами и равнодушно проговорила: «Давай играй».

Когда включили свет, он сказал: «Давай вставай». В эту минуту я вспомнила Калину.

Мы были в кино, где только что, держась за руки, посмотрели «Хиросима, любовь моя». Я отерла слезы — меня все трогало до слез.

— Что, мне уже и поплакать спокойно нельзя?

Он поцеловал меня в губы.

— По-моему, тебе хочется, чтобы тебя любил японец,

вот такой же, как в фильме. Сейчас все женщины хотят, чтобы их любил такой японец.

Я искала платок в кармане плаща. Наверное, оставила его на кровати, и расческу, и сигареты тоже. Но он был здесь. Я крепко обняла его. Мне хотелось вскочить на стул, взобраться на крышу, взлететь на громотвод и закричать в лицо буре: я люблю! Я ЛЮБЛЮ! Мы вышли из зала, и я вцепилась в него, он ведет меня — я же сейчас совсем слепая, ничего не вижу, я ослепла! На улице я повисла у него на руке, я не могу идти, нога моя, нога!.. И он почти несет меня. Идет дождь, прохожие не обращают на нас внимания, да и кому какое дело до двух сумасшедших, у которых впереди вечность? Мы оба вечны, мы вечны и одиноки в ночи. В мире. На улице. В грязном теплом кафе. Я посмотрела на руки — ногти чистые.

— Они чистые, когда любишь.— Кто? — не понял он.

Мы сняли плащи. Лицо у меня покраснелось, оно горело и пылало. Мы сели за столик у стены, другой столик был так близко, что спинки стульев соприкасались и мой стул трясся, когда сосед смеялся или размахивал руками. Ощущение было такое, словно я сижу у него на коленях. Из транзисторного приемника на стойке вырывалась громкая музыка. Кажется, болеро.

Подошел официант, провел по столу еще более грязной, чем клеенка, тряпкой, сгреб в кучу зубочистки и сигаретный пепел. Предыдущие клиенты, видимо, со страстью ковыряли в зубах. И курили непрерывно — даже от стульев, по-моему, пахло дымом, когда мы сели, прижимаясь под столом коленями друг к другу и сохраняя невозмутимое выражение на лицах. Мы облокотились на стол, от которого исходил какой-то влажный запах. «Это мышами пахнет, да?» — подозрительно спросил он. Я рассмеялась и сказала, что пахнет затхлой мокрой тряпкой. Напротив висело старое, в пятнах, зеркало, оно было разрисовано желтыми буквами — рекламой вермута, я посмотрела на свое лицо, разбитое на блестящие осколки, и прикрылась рукой: я не хотела, чтобы меня видели такой — сверкающей, как разно-

цветные драгоценности, с безумно бьющимся сердцем, ограненным в Амстердаме, пылающей, как вулканическая лава, сияющей, как звездный луч...

Я люблю тебя. Я люблю тебя, сказала я вслух, пользуясь тем, что болеро достигло апогея, любовник видел, что возлюбленную его уносит лодка, которая может потеряться в волнах безумия, но это не имеет значения — ведь он вечно будет ждать на берегу, продуваемом всеми ветрами, вглядываясь в гребни волн, в их белые лица...
О верность!

Между пачками сигарет и жевательной резинки висели брелоки, рубиновые глазки сверкали в глазницах черепов, каждый брелок — маленький белый череп с ничего не выражающими глазами. Мой сосед сзади расхохотался, спинка его стула чиркнула по моему... слишком много здесь этих квадратных столиков. Где, где же это было? Калина, подумала я, обмакнула кончик пальца в вино и спросила, каким номером он пометил бы этот стол. Он наклонился, всматриваясь в клеенку, и засмеялся:

— А номер уже есть, вот погляди!

Я сдуваю сигаретный пепел, упавший мне на грудь. Пепел, пепел. Со страхом смотрю в окно. Из глубины времен возникает Калина — или она и есть само время? Голос ее звучит громче, тянется, как горячее миндальное тесто: «Ве-е-ера!..» Голос столь явствен, что я вскакиваю. Опять все сначала?! Перед глазами наши ворота с розетками, мама, кипящая кастрюля, и сердце замирает от страстного желания... «иди играть!».

Я закрываю свое окно, я закрываю свое сердце, но уголь уже быстро чертит на асфальте квадраты, короткая губка неумолимо поднимается — «давай играй».

«Погоди», — вдруг с изумлением слышу я свой собственный голос и вновь чувствую, как бледнею, глядя на выведенные углем цифры, бросающие мне вызов. «Погоди», — повторяю я с умоляющим жестом. Я черчу в воздухе крест и перевожу дыхание. Сжимаю в руке битую и, сосредоточившись, начинаю прыгать по квадратам.

Гербарий

Каждое утро я брала корзинку и отправлялась в лес, дрожа от восторга, когда находила какое-нибудь редкостное растение. Я была трусихой, но смело продиралась через колючие кусты, натываясь на муравейники и норы (а вдруг там броненосец или змея?), и выискивала самые необыкновенные листья, чтобы потом он их не спеша разглядывал и вкладывал в альбом в черном переплете. Позднее они войдут в гербарий, дома у него в гербарии было почти две тысячи растений. «Ты видела когда-нибудь гербарий?» — поинтересовался он.

В первый же день, только приехав к нам, он научил меня произносить *herbarium*. Я без конца твердила: гербарий, гербарий. Еще он сказал, что любить ботанику — значит любить латынь, ведь почти все в растительном царстве носит латинские названия. Латынь я ненавидела, но со всех ног помчалась разыскивать кирпичного цвета грамматику, которую засунула на самую верхнюю полку. В учебнике я нашла фразу полегче и вызубрила ее наизусть, увидев ползущего по стене муравья, блеснула: “*Formica bestiola est*”. Он пристально посмотрел на меня. «Муравей — это насекомое», — выпалила я перевод. Тут он рассмеялся, да так весело, как не смеялся ни разу потом. Я тоже расхохоталась — конечно, я смутилась, но и обрадовалась: хоть что-то он разглядел во мне, пусть и смешное.

Был он мне каким-то дальним родственником, а к нам приехал поправляться после болезни. Что это за болезнь, я не знала, но от нее он бледнел и покрывался испариной, стоило ему быстро подняться по лестнице или просто подольше походить по дому.

© Livraria José Olympio Editora, 1980.

Я перестала грызть ногти, к величайшему изумлению моей мамы, которая уже исчерпала все средства — и угрозы сократить мне выдачу карманных денег, и запреты на походы в гости к подружкам. И все без толку. «Ну и ну, кто бы мог поверить!» — сказала она, увидев, как я натираю пальцы красным перцем. Я притворилась, что не слышу, вчера он мне сказал, что у меня будут уродливые руки: «Ты об этом подумала?» В жизни не думала об этом, да мне и все равно было, какие там у меня будут руки, а тут вдруг стало не все равно. А если когда-нибудь из-за них он меня отвергнет, как испорченный или слишком обыкновенный лист? Я перестала грызть ногти и перестала врать. Почти перестала. Ведь он не раз говорил мне, что ненавидит всяческую ложь и нечестность. Мы сидели на веранде, он разбирал еще влажные от росы листья и вдруг спросил меня, слыхала ли я о вечных листьях. Нет? Он погладил пушок на листе мальвы. Лицо его смягчилось, когда он растер лист в руке и вдохнул его аромат. Вечные листья живут до трех лет, а простые, стоит им пожелтеть, опадают при первом же порыве ветра. Вот и у лжи жизнь короткая, хотя иной раз и блестящая. Когда лжец оглядывается назад, он видит только голое, засохшее дерево. А у правдивых людей дерево зеленое, с пышной кроной, в которой живут птички, — он раскрыл руки и показал, как шелестят листья и шумят крылья. Я сложила руки на коленях и поджала губы, которые горели огнем, — отросшие ногти были великим соблазном и карой одновременно. Я могла бы сказать ему, что именно из-за своей незначительности я вынуждена укрываться ложью как блестящим плащом, что именно перед ним, больше чем перед кем-либо другим, мне хочется покрасоваться, пофантазировать, чтобы он взгляделся в меня, как сейчас взглядывался в лист вербены. Неужели он не понимает таких простых вещей?

Приехал он к нам зимой, на нем были серые фланелевые брюки и толстый свитер с узором «косичкой». Было это ночью. Вечером, как всегда по пятницам, мама окурила дом ладаном и приготовила комнату горбуна. В семье у нас

рассказывали, что мой прадедушка нашел как-то в лесу горбуна, привел к себе и устроил в этой комнате — она была самая теплая в доме и как нельзя лучше подходила и для заблудившегося горбуна, и для выздоравливающего родственника.

После чего он выздоравливал? Что за болезнь была у него? Тетя Марита, которая обладала веселым нравом и обожала мазаться, ответила мне смеясь (она всегда говорила со смешком), что наш воздух и травяные настои делают чудеса. Молчаливая тетя Клотильда по своему обыкновению ответила так, что ее ответ годился для любого вопроса: все в жизни меняется, кроме судьбы, начертанной на ладони человека. Она умела гадать по руке. Тетя Марита шепотом велела мне отнести ему липового чая и сказала, что после липового цвета он будет спать как сурок. Он лежал в кресле, прикрыв ноги клетчатым пледом. Он посмотрел на меня и спросил, вдыхая ароматный пар: «Хочешь помогать мне? У меня страшная бессонница, я совсем не в форме, и мне нужен помощник. Надо собирать листья для моей коллекции. Но я много двигаться не могу, так что придется тебе ходить одной», — сказал он и взглянул на листочек, плававший в чашке с липовым цветом. Руки у него дрожали так, что чай пролился на блюдечко. Ему холодно, подумала я. Но и на другой день, когда ярко светило солнце, руки у него дрожали по-прежнему, желтые, как сухие травинки, которые я любила сжигать на пламени свечи. «Что с ним?» — спросила я у матери, а она ответила, что если б и знала, то не сказала — у ее поколения считалось, что болезнь — дело сугубо личное.

Я врала всегда, была у меня на то причина или нет. Тете Марите я врала принципиально — слишком уж глупа она была. Матери врала меньше, потому что очень боялась божьей кары, и еще меньше — тете Клотильде: ведь она была немного колдунья и знала будущее. При любой возможности я врала напропалую, не зная зачем и как потом буду выпутываться. Полагалась на волю случая. Но ему вскоре стала врать с определенной целью. Например,

проще простого было сказать, что березовый лист я сорвала в терновнике у оврага. Но тут требовалось улучшить минуту, когда он посмотрит на меня, и сделать это до того, как он отложит листок в корзинку, где уже лежала целая куча листьев, отвергнутых им как не представляющие интереса для гербария. Я изобретала опасности, преувеличивала трудности, одним словом, всячески старалась растянуть свои выдумки. Он останавливал меня взглядом, молча, и зеленая змея лжи умолкала, и кровь бросалась мне в лицо.

«А теперь расскажи, как все было на самом деле», — говорил он спокойно, погладив меня по голове. Взгляд у него был ясный и прямой. Он любил правду. А что интересного в этой правде, сказала я однажды, по-моему, она так же обыкновенна, как лист с розового куста во дворе. Он дал мне лупу и положил лист на ладонь: «Погляди на него вблизи». Но смотрела я не на лист — какое мне до него дело? — а на его руку, чуть влажную, белую, как бумага, испещренную таинственными линиями, разбегавшимися как звездные лучи. Я изучала выпуклости и впадины на его ладони: где же начало? Или конец? Я задержала взгляд на участке руки, изрезанном ровными, четкими линиями, словно поле, вспаханное плугом. Положить бы голову на эту пашню! Я отодвинула листок, чтобы проследить основные линии. Что бы значил этот крест? — спросила я, а он схватил меня за косы: «И ты тоже, девочка?!»

Тетя Клотильда погадала ему на картах. Открыла и прошлое, и будущее. «Она бы еще много чего наговорила», — добавил он, пряча лупу в карман белого фартука — иногда он надевал фартук. И что же она ему нагадала? Много всего, но самое главное, она сказала, что в субботу за ним приедет девушка, очень красивая, тетя Клотильда знала даже, что на ней будет светло-зеленое платье старинного покроя. А волосы у нее длинные и отливают медью. Даже такие подробности прочитала она по его ладони.

Красный муравей спустился в щель между плитами

дорожки и поволок кусочек листа, и ветер подгонял его, как маленький парусник без мачт. Я вздохнула. Муравей — насекомое, крикнула я, согнула ноги, опустила руки — вылитая обезьяна. «Хо-хо, ух-ух, хо-хо! Насекомое, насекомое!» — вопила я, катаясь по земле. Он смеялся и просил меня перестать: «Ты ушибешься, осторожно!» Я бросилась прочь, глаза у меня щипало, словно их засыпало перцем и солью сразу, губы стали соленые — нет, нет, никто не приедет, проклятая тетка с ума сошла, врет она, врет! Цвет платья она, видите ли, знает! Светло-зеленое! Волосы длинные! Дура, идиотка! Спятила, как ее сестрица, что красится да коврики вяжет, сотни ковриков — для комнат, для кухни, для уборной! Обе они ненормальные! Я промыла невидящие глаза, утерла распухшие от слез губы, последний ноготь жег язык. Нет и нет! Никто не приедет за ним, никаких медноволосых девиц и на свете-то не существует, никто его не заберет, он не уедет никогда, НИКОГДА, повторила я, и тут же пришла мама звать меня обедать, а я скорчила жуткую мину, я всегда прятала страх под устрашающими рожами. Всех это развлекало, и обо мне уже не думали.

Когда я дала ему листок плюща в форме сердца (сердца с нежными прожилками, веером разбегающимся к сине-зеленым краям), он поцеловал его и поднес к груди. «Этот листочек останется здесь», — сказал он и воткнул черенок в свой свитер. Но больше не взглянул на меня, даже когда, уходя, я споткнулась о корзинку. Я побежала к фиговой пальме, моему наблюдательному пункту, — оттуда я могла видеть его, оставаясь незамеченной. Сквозь железную решетку перил он показался мне не таким уж бледным. Испарины почти не было, рука тверже держала лупу над шипом терновника. Он выздоравливал. Я обхватила ствол пальмы, и впервые в жизни у меня возникло чувство, словно я обнимаю бога.

В субботу я поднялась ни свет ни заря. Таял на солнце туман, когда он растает весь, день будет ясным. «Куда это ты собралась в таком виде? — спросила мама, протягивая мне чашку кофе с молоком. — Зачем ты отпорола

подпушку?» Я отвлекла ее внимание, рассказав, что якобы видела во дворе змею, черную, с красными полосками, уж не коралловая ли это змея? Когда они с тетей ринулись во двор, я взяла корзинку и пошла в лес. Как бы я стала объяснять ей, что хотела прикрыть свои тощие, искусанные комарами ноги? Меня обуял восторг, я срывала листья, надкусывала незрелые гуайавы, швыряла камни в деревья, распугивая птиц, которые пересказывали друг другу свои сны. Я побежала к оврагу. По пути поймала бабочку, взяла ее за крылышки и посадила в венчик цветка, вот тебе мед, крикнула я ей. А мне что будет за это? Совсем запыхавшись, я повалилась на траву. Я улыбалась туманному небу сквозь плотную вязь ветвей. Потом перевернулась на живот и раздавила такой сочный гриб, что рот у меня наполнился слюной. Я заползла в углубление за валуном, здесь было прохладнее, и толстые шляпки больших грибов источали клейкие капли. Я спасла пчелу из паучьих лап, позволила гигантскому муравью схватить паука и уволочь этот дрыгающий ногами тюк, но когда появился майский жук с заячьей губой, я отступила. Какой-то миг я видела свое отражение в его фасетчатых глазах. Он повернулся и исчез под камнем. Я подняла камень, но жука не было. Однако на гладком туфе я заметила прилипший листок. Такого я никогда раньше не видела. Да и этот был один-единственный. Что же это за лист? Он был выгнут, как серп, зеленый, с красными, как кровь, крапинками. Может, жук превратился в этот маленький окровавленный серп? Я спрятала лист в карман. Ему предназначена важная роль, и я не положу его вместе с остальными, он останется у меня, как тайна, которую нельзя ни увидеть, ни потрогать. Тетя Клотильда предсказывала будущее, а я смогу изменять его, да-да! Ногой я развалила термитник под миндальным деревом. Я шла торжествуя — в кармане, где я носила свою любовь, я несла теперь смерть.

Тетя Марита вышла мне навстречу. Сегодня она говорила еще туманнее, чем обычно. Предварительно рас-

смеявшись, она сообщила: «Уедет, верно, наш ботаник! Знаешь, кто здесь? Его подружка, та самая девушка, которую Клотильда разглядела у него на руке, помнишь? Они уедут вечерним поездом, а девушка-то красавица, точь-в-точь как Клотильда описала. Ужас, да и только! И как это она такое угадывает?»

Я оставила на лестнице туфли с налипшей глиной. Уронила корзинку. Тетя Марита обняла меня за талию, пытаюсь вспомнить имя девушки, какой-то цветок, но какой? Она умолкла и вдруг заметила, что я бледна. Почему вдруг? Я ответила, что бежала, во рту у меня пересохло и сердце громко колотится, разве она не слышит? Она прижалась ухом к моей груди и захохотала, вся трясясь. В моем возрасте она тоже жила вприпрыжку, может, я не верю?

Я подошла к окну. За стеклом, толстым, как лупа, я увидела их обоих. Она сидела, прижимая к груди альбом. Стоя за стулом, он гладил ей шею, и пальцы у него были такими же нежными, как если бы он гладил листочек мальвы, а смотрел он на нее как на самый редкостный экземпляр своей коллекции. Платье на ней было не зеленое, но на распущенных волосах играли медные блики, отсвечивая на руке. Увидев меня, он как всегда неторопливо вышел на веранду и, слегка смутившись, сказал, что это последняя корзинка, разве меня не предупредили? Его срочно вызывают, ехать надо сегодня же. Ему жаль расставаться с такой преданной помощницей, но кто знает, может, когда-нибудь?.. Надо бы спросить у тети Клотильды, где на руке обозначены встречи.

Я протянула ему корзинку, но вместо того чтобы принять ее, он взял меня за запястье: я что-то скрываю, да? А что именно? Я попыталась вырваться: ничего я не скрываю, пусти меня! Он отпустил мою руку, но глаз с меня не сводил. Я вся сжалась, когда он тронул меня за плечо. «Разве ты забыла наш договор говорить только правду?» — спросил он тихонько.

Я опустила руку в карман и нащупала лист, липкую влажность острого кончика, где гуще всего рассыпаны были красные крапинки. Он ждал. Мне хотелось сорвать со столика вязаную скатерть, замотать ею голову и устроить представление, «ху-ху, хо-хо!», и смотреть на него сквозь дырочки в скатерти, пока он не засмеется, мне хотелось кинуться вниз по лестнице и помчаться к оврагу, я уже видела, как бросаю в ручей серп, пропади он пропадом! Я подняла голову. Он ждал. В глубине комнаты ждала девушка в золотом ореоле, в солнечном сиянии. Я взглянула на него в последний раз и без всяких задних мыслей. Да, вот так! И отдала ему лист.

Стена

Он открыл глаза и увидел расплывчатое пятно, очертания человека в серо-зеленых сумерках. Кто это, санитар? Он услышал свое тяжелое дыхание, словно брел по раскаленной дороге.

— Воды,— сказал он.

Размытая фигура приблизилась и пожала ему руку. Ему захотелось удержать в своей эту крепкую, спокойную руку. Но ему стало стыдно — кому приятно держаться за руку со стариком? К тому же с умирающим стариком. Он разжал пальцы. Санитар наклонился к нему:

— У вас что-нибудь болит?

В профессионально любезном голосе все же слышалось нетерпение. Когда же конец? — вот что должен был спросить санитар. Затянувшаяся агония. Что-нибудь болит? Нет, не чувствует он уже боли, ему казалось, что он парит в нескольких сантиметрах над своим телом, да, он ощущал это. Но по старой памяти пить очень хотелось. Он попытался приподнять голову, когда понял, что ему ко рту осторожно поднесли смоченную водой ватку. Вода проникала в трещины губ, как дождь в иссушенную землю. Он закрыл глаза и заглянул в себя. Ах, если бы до самого конца можно было бы не отрываясь смотреть в этот калейдоскоп, в котором виден был двор старого дома, и слушать журчание ручья под жабутикабейрами! Вот залаяли собаки. На кухне еще хриплые со сна голоса согреваются возле очага, где пылают дрова. Он передвинул калейдоскоп чуть правее, снова к ручью. Иногда в воду попадает пчела или бабочка... Подожди, сейчас я тебя вытащу! Веточкой или листочком он вытаскивал бабочку, клал ее обсохнуть подальше от кур

© 1981 by Lygia Fagundes Telles.

и собак. Дул ей на крылышки, ну же, лети! А теперь жук попался, он упал на спинку и дрыгает ножками в воздухе. Подожди! Ручей был узок, но щедро поил влагой землю до самой клумбы анютиных глазок, они спесиво поглядывали вокруг через прорези фиолетовых масок в отличие от фиалок, скромно прятавшихся под листьями, которые приходилось разгребать, чтобы набрать букетик, вдыхая сильный аромат, смешанный с запахом земли. Ему нравилось делать букетики с листьями, на которых покоились робкие фиолетовые головки,— больше они не скроются, стебельки он связывал шпагатом.

Санитар посмотрел на больного. Бредит? Положил ладонь ему на лоб. Температуры нет, лоб холодный, словно горячая кровь опять покинула это тело, которое казалось безжизненным, когда не сгорало в жару. Протянет до ночи? Санитар взглянул на часы, лежавшие на тумбочке возле кровати. Потом сел в кресло и открыл книгу — он читал детектив.

— Не испачкайся до мессы,— сказала мама, ставя цветы в стакан. Все собрались возле очага, где, потрескивая, разгорались дрова, голоса согревались, расправлялись, как крылья бабочек на солнце. Искры. Копоть. Андре сунул в раскаленный пепел сладкий батат. Андре маленький, никто еще не знает про драку в борделе Луизоны, про удар ножом... Дай кусочек, Андре! Мама, борясь за справедливость, выталкивает его из кухни: «Ведь ты уже съел свой батат, правда? Вот и не мешай брату, пусть спокойно поест». В калейдоскопе Андре вдруг рассыпается на части, на красные кусочки, заливая кровью все вокруг. Но легкое движение рукой, и кусочки собрались в новую картину — собаки катаются по земле возле сетчатой изгороди, они любили там возиться и покусывать друг друга. Иногда укусы оказывались болезненными, так что они скулили, но понимали, что это игра, что боль им причинена без злого умысла — очень трудно соразмерить силу, когда весело. Тогда решительно вмешивался отец — слишком уж разошлись собаки: «Хватит, вон отсюда». И они убегали. Но тотчас возвращались. Дружок — с листом в пасти, он вечно

жевал какие-то листья. Отец читал газету, более толстую, чем обычно,— было воскресенье. Дедушка ходил во фланелевой пижаме и шлепанцах до самого обеда, а отец одевался, как только вставал. Дедушка, поведешь меня сегодня в цирк? Но дедушка притворился, что не слышит, и ответил отец: «Если будешь умницей». Хотелось бы знать, что значит «быть умницей», но отвлек Андре, который выскочил во двор, дуя на горячий батат, подумалось: надо предупредить его — смотри, Андре, не уходи сегодня из дому! — но смерть и все остальное еще не сложились в единую картинку в калейдоскопе, было утро, в руках у Андре — горячий батат, а на дереве — спелая жабутикаба, которую хотел достать дедушка: «Урожай в этом году будет отменный! Будь умницей, сорви мне вон ту, спелую, только осторожно, не сшиби зеленых». Наверное, быть умницей значит собирать фрукты для старших и не лазить на стену, не смотреть, что там, по другую сторону,— но что же все-таки там есть? Он видел, что дедушке мешает листва, но вместо того чтобы помочь, следил за полетом пчелы.

— А что дедушка больше любит, жабутикабы или бога?

Санитар испугался, услышав слово «бог», произнесенное звонким детским голосом.

— Вы хотите, чтобы я позвал священника?

В тихой комнате воздух клокотал в груди умирающего, дышавшего из последних сил, как из последних сил дедушка тянулся через листву к дальней ветке, почти достал, еще чуть-чуть! Санитар кончиками пальцев приподнял ему веки. Наклонился, чтобы снова спросить, не позвать ли священника. «Если позвать, сожмите руку, вот эту». Рука, вытянутая вдоль тела, не шелохнулась, только указательный палец шевельнулся, этот жест можно было истолковать как «нет». «Хватит, поди вон!» — крикнул отец щенку, который через проволочную сетку курятника дразнил курицу с ярким гребнем. Один цыпленок в ужасе кинулся через сетку на собак, отец вскочил и засунул его под курицу, что творится сегодня с животными?

«Иди пить кофе, сынок», — позвала мама. Запахло кофе.

Он вскрикнул, когда Дружок кинулся на него со спины и лизнул в губы. Он поглядел на брюки — разорваны? Мама в переднике с вышитыми на кармане клубничками протянула ему чашку кофе с молоком. А где Андре? Он ест свой батат, спрятался, чтобы ни с кем не делиться! — сообщил он, и мама строго посмотрела на него, она защищала Андре, словно заранее знала, что произойдет однажды ночью в борделе у Луизоны. «Ты же съел свой батат? Так оставь его в покое!» Громко дыша, прибежали изголодавшиеся собаки. Откуда они узнали, что в их миске уже есть еда? Хлебный мякиш, размоченный в теплом молоке. Драка, визг, и вот уже языки в полном согласии шумно лакают из миски. Он тоже шумно прихлебывает свой кофе с молоком. Нож с мелкими зубчиками оставляет волнистые, словно борозды, следы на масле, которое мама намазывает на хлеб. Он посмотрел на красную кирпичную стену. Высокая. «И думать не смей», — предупредила мама. Стена была под запретом. Ах, если бы просверлить дырочку и заглянуть в тот двор, поглядеть на соседа, которого он никогда не видел! Кто этот сосед? Деревья там были, в ветреную погоду он слышал шум листвы. А кроме деревьев что там есть? — Стена.

Слово было произнесено тягучим, но ясным голосом. Санитар опустил книгу на колени и спокойно посмотрел на свои белые полотняные туфли. Снял с брюк приставший кусочек ваты, скатал его в комок и бросил в сторону стола, на котором стояла ваза с розами. Розы уже завяли, почернели. Это от них такой тяжелый запах временами? Или это запах смерти, плетущей свою паутину вокруг жертвы? Паук плетет тонкую паутину, выпуская серые обволакивающие нити. Как знаком ему этот запах! «Стена», — сказал он. Резким движением перевернул страницу. Принюхался, раздувая ноздри, повернулся к цветам. Конечно, это запах гниющих в застоявшейся воде стеблей. Вот бездельники! В доме полно прислуги, а сменить воду некому. Дом умирает раньше хозяина.

— Какая стена? — спохватился санитар, однако ответа не ждал. Он встал приготовить шприц.

«Как пахнет!» — сказал дедушка, растирая в пальцах лист эвкалипта. Он хотел поглубже вдохнуть аромат, но почувствовал запах эфира. Опять укол? Хватит, попытался он произнести. Эфир победил все запахи, пронесся по комнате, словно вестник с серой звездой во лбу промчался по облакам. Холодно. Холодно.

— Сколько можно? — прошептал он, болезненно морщась.

— Больно было? Простите, — извинился санитар и вынул иглу. Прижал ватку к красному пятнышку на руке, накрыл больного одеялом. — Сейчас вам станет легче.

«Дали бы умереть спокойно». Терпеливый шепот дежурного скрывал нетерпение, усталость. Пора уже, пора. «Я тоже так думаю, мои дорогие». Все эти в высшей степени осведомленные люди, казалось, становились сильнее по мере того, как убывали его силы. Но вот противоречие: они мечтают, чтобы он наконец умер, но в то же время не щадят себя, чтобы отсрочить приход последней гостьи. Читал он где-то или видел во сне, что это девушка в зеленом платье и фетровой шляпке с маленькой вуалью? Скромно, но по-приятельски поманит она его затянутой в перчатку рукой: «Пошли?»

— Подожди.

Как странно — голова совершенно ясная, несмотря на укол. Он отчетливо видел самого себя, физические и прочие муки кончились уже. Неужели не осталось никаких страданий? Это привилегия богатства. Однако и оно уже не могло скрыть нараставшее вокруг раздражение, он сам, нервничая, наблюдал за суетой, как посторонний зритель за неинтересной игрой. Дочь могла бы приехать из Женевы (но она не придет) и броситься в его объятия (не бросится), но это уже не взволновало бы его. Это уже не имело никакого значения. Важными были лишь те картины, которые показывал магический калейдоскоп, прозрачный, как само утро. Животные, люди, намерения. Двор. Будущая жизнь, нетронутая, целая. «Смотри, видишь, ангел летит, — говорил дедушка, показывая на небо. — Видишь, ангел и черт? Гляди, черт падает, прямо сюда падает, на нас!» Он вцепился в деда,

крича и смеясь, но отец был серьезен: «После таких историй мальчик не спит ночами». Отец принес мольберт и краски, он расписывал деревянные кувшины. В кухне прибавилось народу, там разговаривали. Все проснулись, и солнце встало. Рыжая курица накинулась на дедушку, который щупал ее в корзине. Будет ли яйцо? Он обожал гоголь-моголь с портвейном. Из окна кухни доносились разговоры, которые затухали и разгорались вместе с огнем в очаге: бабушка вышивает покров на алтарь, там изображена гостия в золотых лучах, лучи надо вышивать настоящей золотой нитью, а это дорого. Окно закрыли, через стекло голоса уже не проникали. Теперь он увидел брата, который кочергой ворошил золу в очаге — что он там искал? Вспомнилось, что надо предупредить его: не выходи сегодня из дому, сегодня не выходи, Андре! Но он был еще маленький, еще не существовало борделя Луизоны, как не существовало и ножа. Не будущее ли он искал в золе? Или еще один батат? Или цирк? Дедушка в поисках яйца. В корзинке с рукоделием лежало деревянное полированное яйцо, мама штопала на нем чулки.

— А как же стена?

Стена была под запретом. «Но почему нельзя, почему?» — спрашивал он, а мама отвечала уклончиво, но решительно, руки у нее маленькие, пахнут мылом, была ли она красива? Мама рассказывает сказку о том, как отец бросил Марию и Жоазинью в лесу. Этот отец плохой, и все люди плохие? Ответила она пылко, с полной убежденностью: «Все люди хорошие, сынок. Иногда они становятся плохими, но это проходит».

— Постарайтесь заснуть, — попросил санитар. — Неужели вам не хочется подремать?

Заснуть! Они хотят, чтобы он спал и спал все время. Скоро он заснет надолго. Тогда ему хотелось залезть на стену, разгадать тайну, которая скрывалась за ней. Побывать бы плохим столько, сколько надо, чтобы взять лестницу, взобраться на нее и посмотреть.

— Что?

— Да-да, постарайтесь уснуть.

Единственную спелую гуайаву сорвал дедушка, от его голубых глаз не мог укрыться ни один плод. Он вынул из кармана перочинный нож для табака, разрезал пополам гуайаву с желтой кожурой, с красной горячей мякотью, разрезал вместе с косточкой и червяком. Мама выглянула в окно, а где Дружок? Он встревожился, поглядел вокруг, но Дружка не было рядом. Он посвистел, позвал, поискал в доме, заглянул под кровати, сбегал в подвал — где же этот щенок? Вернулся во двор, потряс сетку там, где Дружок обычно спал, сходил на помойку, разгреб солому, нашел кость и изжеванный лист, глядя на лист, заплакал — где же, где Дружок? Дедушка пошел поглядеть в корзинку с рукоделием, куда щенок вечно совал свой нос. А в печке смотрели? Он громко плакал, вцепившись в дедушкину ногу. Дружок, Дружок! Отец велел успокоиться, нечего терять голову, надо искать по системе, «по системе». Если собаки нет в доме, значит, она во дворе. Просто так исчезнуть она не может. «А в этом ящике ты посмотрел?» Он заглянул в ящик, пересмотрел тряпки, сита, корзины. Поглядел на стену: а если Дружок убежал через стену? «Это же собака, а не кошка», — сказал дедушка, натыкаясь на собак, которые с лаем носились по двору. Кто-то вспомнил, что в проволочной сетке ворот есть дырка, может, он через эту дырку убежал? Вдруг откуда-то издали послышалось жалобное тьяканье. В полном молчании все не торопясь повернулись к стене и замерли, даже собаки застыли на месте. Он услышал, как бьется собственное сердце, его удары были громче, чем тьяканье в соседнем дворе. «Это он!» — сказала мама и побежала за лестницей, прислонила ее к стене.

— Позвольте, я поправлю подушку. Так лучше.

Нет, не лучше, лучше было раньше. Он закрыл глаза. Из-за перемены положения картина в калейдоскопе расстроилась. Ах да, вот так. Он взбирается по лестнице на красную стену, которая кажется ему огромной, высоченной. Влез и увидел: с той стороны — только кроны деревьев,

освещенные солнцем, но даже солнце не проникало сквозь переплетение ветвей и лиан. Лай стал ближе, отчетливей. Это ты, Дружок? Ты? И вдруг увидел щенка, который через листву поднимался к нему. Кто-то (кто?) протягивал ему щенка как подарок. Он прижал Дружка к груди, смеясь и заливаясь слезами. Ему хотелось разглядеть того, кто вернул ему щенка, но листва уже сомкнулась, как занавес. Дружок лизал ему глаза, уши, а ну не смей кусаться, беглец! Мама от радости похлопала в ладоши, как на спектакле, и вернулась в кухню вместе с Андре, который кувырчался и требовал: в цирк, в цирк! Дедушка пошел одеваться — его бабушка позвала идти к мессе. Отец погрозил собакам: «Тихо, хватит шуметь!» Он снова взялся за кисть, но вдруг его осенило: «Погоди, сынок, не спускайся, посиди как сидишь, я напишу твой портрет, держи Дружка, только покрепче. И не смотри на ту сторону, упадешь еще!» Он засмеялся над отцом — упасть, еще чего?! Никогда он еще не чувствовал себя так уверенно, как сидя верхом на стене. Это же очень просто. И какой большой сад у соседа, кроны деревьев так плотно сомкнулись, что стало похоже на зеленый пол, пробежаться можно по этому полу, сияющему в лучах солнца, вот сейчас побегу!..

— Вы слышите меня? — спросил санитар, наклоняясь к больному. Но что за странное выражение лица у него? Никогда ничего подобного санитар не видел. Он вытер больному глаза уголком носового платка, разве не странно? Этот блеск в глазах, эта улыбка. Санитар начал неторопливо считать пульс, но тут же отпустил вытянутую вдоль тела руку. Он поправил подбородок, чтобы как следует сомкнулись полуоткрытые в какой-то тайной радости губы. Санитар посмотрел на часы: ночь еще не наступила, так он и предполагал. Он разгладил одеяло и в задумчивости уложил руки покойного поверх простыни. Закрыв лежавшую на кресле книгу, положил ее в карман. Закрыв бикс со шприцами, стоявший на столе.

— Стена, — прошептал он еще раз.

Но в комнате уже никого не было.

Содержание

- 5 *Е. Огнева. Обаяние скрытого чуда*
- 12 *Рука на плече. Перевод М. Волковой*
- 21 *Желтый ноктюрн. Перевод Н. Малыхиной*
- 36 *В сауне. Перевод М. Волковой*
- 68 *Перед зеленым балом. Перевод М. Волковой*
- 78 *Рождество в предместье. Перевод М. Волковой*
- 85 *Приходи взглянуть на заход солнца.
Перевод М. Волковой*
- 94 *Охота. Перевод М. Волковой*
- 100 *Консультация. Перевод Н. Малыхиной*
- 111 *Крысиный семинар. Перевод Н. Малыхиной*
- 124 *Эмануэл. Перевод М. Волковой*
- 133 *Черные «классики». Перевод Н. Малыхиной*
- 138 *Гербарий. Перевод Н. Малыхиной*
- 146 *Стена. Перевод Н. Малыхиной*

Фагундес Теллес Л.

Т 31 Рука на плече: Рассказы/Пер. с португ. Сост. М. Волковой. Предисл. Е. Огневой.— М.: Известия, 1986.— 160 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»).

В это издание вошли рассказы разных лет бразильской писательницы Лижии Фагундес Теллес. Вторжение фантастики в ткань реального повествования помогает автору еще глубже проникнуть в духовный мир современного человека в условиях буржуазной цивилизации. Утрата собственного «я», профанация любви, отказ от истинных ценностей, позднее прозрение — таковы темы многих рассказов Лижии Фагундес Теллес.

4703000000—070
074(02) — 86 82—86

**ББК 84.7 Бр
И(Браз)**

ЛИЖИЯ ФАГУНДЕС ТЕЛЛЕС

РУКА НА ПЛЕЧЕ

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *М. Канторович*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 1006

Сдано в набор 11.12.85. Подписано в печать 05.06.86.
Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура
«Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,5. Усл. кр.-отт.
13,3. Уч.-изд. л. 7,39. Тираж 50 000 экз. Зак. № 1304.
Цена 80 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов
СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при
Государственном комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
143200, Можайск, ул. Мира, 93.

**В Библиотеке журнала
«Иностранная литература»
вышли в свет:**

- | | |
|--|---|
| 1 Герман Кант (ГДР)
«Объяснимое чудо» | 11 Джон Чивер (США)
«Еще одна житейская
история» |
| 2 Ясуси Иноуэ (Япония)
«Три новеллы» | 12 Сьюзен Хилл
(Великобритания)
«Самервил» |
| 3 Леонардо Шаша (Италия)
«Палермские убийцы» | 13 Тонино Гуэрра (Италия)
«Стая птиц» |
| 4 Надин Гордимер (ЮАР)
«Дом Инкаламу» | 14 Эржебет Галгоци
(Венгрия)
«Вдова села» |
| 5 Хоакин Сантана (Куба)
«Воспоминания
об улице Магнолии» | 15 Сид Чаплин
(Великобритания)
«Тонкий шов» |
| 6 Вити Ихимаэра
(Новая Зеландия)
«В поисках Изумрудного
города» | 16 Джеймс Джойс
(Ирландия)
«Дублинцы» |
| 7 Арман Лану (Франция)
«Песочные замки» | 17 Фарли Моуэт (Канада)
«Вперед, мой брат,
вперед!» |
| 8 Иоахим Новотный (ГДР)
«Новость» | 18 Юхан Борген (Норвегия)
«Декабрьское солнце» |
| 9 Рэй Брэдбери (США)
«В дни вечной весны» | |
| 10 Яшар Кемаль (Турция)
«Легенда Горы» | |

- 19 Энгус Уилсон
(Великобритания)
«Что едят бегемоты»
- 20 Натали Саррот (Франция)
«Вы слышите их?»
- 21 Радослав Михайлов
(Болгария)
«Властители земли»
- 22 Армандо Роблес Годой
(Перу)
«В сельве нет звезд»
- 23 Вильям Сассин (Гвинея)
«Вирьяму»
- 24 Йозеф Пушкаш
(Чехословакия)
«Приятные
разочарования»
- 25 Яхья Яхлюф (Палестина)
«Наджран в час
испытаний»
- 26 Костас Варналис (Греция)
«Дневник Пенелопы»
- 27 Хуан Карлос Онетти
(Уругвай)
«Лицо несчастья»
- 28 Элио Витторини (Италия)
«Сицилийские беседы»
- 29 Сётаро Ясуока (Япония)
«Морской пейзаж»
- 30 Франсуа Мориак
(Франция)
«Агнец»
- 31 Меджа Мванги (Кения)
«Жертва для гончих псов»
- 32 Ярослав Гашек
(Чехословакия)
«Талантливый человек»
- 33 Мария Луиза Кашниц
(ФРГ)
«Длинные тени»
- 34 «Валлийский рассказ»
- 35 Мигель Делибес
(Испания)
«Опальный принц»
- 36 Алан Маршалл
(Австралия)
«Пишу о тех, кого люблю»
- 37 Михаил Садовяну
(Румыния)
«Чекан»
- 38 Вейо Мери (Финляндия)
«Обед за один доллар»
- 39 Хулио Кортасар
(Аргентина)
«Непрерывность парков»
- 40 Гопинатх Моханти,
Кришна Собти (Индия)
«Чертова Митро»

- 41 Юлиан Кавалец (Польша)
«Свадебный марш»
- 42 Душан Калич
(Югославия)
«Вкус пепла»
- 43 Густаво Эгурен (Куба)
«Окно на лужайку»
- 44 Элизабет Боуэн
(Великобритания)
«Плющ оплел ступени»
- 45 «Современная
китайская проза»
- 46 Александр Карасимеонов
(Болгария)
«Двойная игра»
- 47 Иштван Эркень (Венгрия)
«Путь к гротеску»
- 48 Луи Арагон (Франция)
«Римские свидания»
- 49 Хорхе Луи Борхес
(Аргентина)
«Юг»
- 50 Джеймс Планкетт
(Ирландия)
«Паутина»
- 51 Видиа С. Найпол
(Тринидад)
«Улица Мигель»
- 52 «Ветер с моря»
(Чилийская литература
Сопротивления)
- 53 Эрве Базен (Франция)
«Во что я верю»
- 54 Джон Гарднер (США)
«Искусство жить»
- 55 Ясунари Кавабата
(Япония)
«Старая столица»
- 56 «Скальпель Оккама»
(Сборник зарубежной
фантастики)
- 57 Юрий Брезан (ГДР)
«Черная мельница»
- 58 Дэвид Герберт Лоуренс
(Великобритания)
«Дочь лошаdnика»
- 59 Жан-Марк Робер
(Франция)
«Чужие дела»
- 60 Винцент Шикла
(Чехословакия)
«Солдат»
- 61 Питер Устинов
(Великобритания)
«День состоит
из 43 200 секунд»
- 62 Дино Буццати (Италия)
«Семь гонцов»

- 63 Жан Кокто (Франция) «Портреты-воспоминания»
- 64 Фрэнсис Кинг (Великобритания) «Дом»
- 65 Эдуардо Галеано (Уругвай) «Дни и ночи любви и войны»
- 66 Кэтрин Энн Портер (США) «Полуденное вино»
- 67 Али Окля Орсан (Сирия) «Голанские высоты»
- 68 Зигфрид Ленц (ФРГ) «Запах мирабели»
- 69 Кобо Абэ (Япония) «Тайное свидание»
- 70 Доржийн Гарма (Монголия) «Первые шаги»
- 71 Пх. Рену (Индия) «Заведение»
- 72 Хорхе Ибаргуэнгойтия (Мексика) «Убейте льва»
- 73 Ральф Эллисон (США) «Король американского лото»
- 74 Мигель Анхель Астуриас (Гватемала) «Зеркало Лиды Саль»
- 75 «Канадская новелла»
- 76 Герман Гессе (Швейцария) «Последнее лето Клингзора»
- 77 Джузеппе Понтиджа (Италия) «Луч тени»
- 78 Эйвинд Юнсон (Швеция) «Зимняя игра»
- 79 Патрик Уайт (Австралия) «Женская рука»
- 80 Ежи Эдигей (Польша) «Идея в семь миллионов»
- 81 Вирджиния Вулф (Великобритания) «Флаш»



Ли́гия Фагундес Теллес

(род. в 1924 г.) —

известная бразильская писательница, лауреат многих литературных премий, в том числе нескольких премий Бразильской академии литературы.

Прозу Ли́гии Фагундес Теллес характеризует тонкий психологизм, интерес к городской

тематике, введение в сюжет элемента фантастики.

Первая книга рассказов, "Живой пляж", вышла в 1944 году. Затем последовали сборники

"Красный кактус", "Дикий сад", "Перед зеленым балом", "Крысиный семинар", романы "Каменная гирлянда", "Менины" и др.

Объясняя читательский успех книг Л. Фагундес Теллес, бразильская критика отмечает ее

"умение выйти за пределы замкнутого круга автобиографичности, в котором безнадежно вращаются многие современные авторы",

присущий ей "бесценный дар перевоплощения в своих героев".